

- **МУЖЧИНА В ПОИСКАХ ЛЮБВИ** -
повесть Юрия Клягиса
- **ПРИНЦЫ И НИЩИЕ НА ТЕЛЬ-АВИВСКОМ
ПРОМЕНАДЕ** - пьеса Геннадия Седова
- **КАФЕ „ИПРИТ“** -
новая поэма Михаила Генделева
- **РЕПОРТАЖ ИЗ НЕОНАЦИСТСКОГО ПОДПОЛЬЯ,**
сделанный израильским парашютистом
- **„УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ...“** - еще
одна попытка, сделанная русским писателем

102

22

МОСКВА - ПЕРУСКИМ

≡

№ 102

≡



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ ЕВРЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ИЗ СНГ В ИЗРАИЛЕ ≡

ДВАДЦАТЬ ДВА

*Издание общественно-культурного фонда
«МОСКВА – ИЕРУСАЛИМ»
Лауреат премии Р.Н. Эттингер за 1984 год*

102

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ПРИ СОДЕЙСТВИИ
ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ИСКУССТВ

1996

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Юрий Клятис. Семнадцать счастлих шевалье Аккуратова	3
Геинадий Седов. Возьми и дай!	38
Михаил Генделев. Кафе «Иприт»	92
Ицхак Орен. Острое слово и острый нож	101

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Иешаягу Лейбович. «Территории»	122
Израэль Эльдад. Выдержки из открытого письма Менахему Бегину	128

ГЕРМАНИЯ – ФАНТОМНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Олег Юрьев. Германия как ее нет	136
Израильский разведчик в неонацистском подполье	153
Дм. Хмельницкий. Об антисемитизме в Германии	164
Александр Кустарев. Кто виноват	170

РОССИЯ – РЕАЛИЗОВАННЫЙ ФАНТОМ

Вячеслав Рыбаков. Научная фантастика как зеркало русской революции	125
--	-----

ОТКЛИКИ

Михаил Горелик. К вопросу о возможности теодицеи	202
Нафтали Прат. Перепутье или судьба	210
Михаил Хейфец. Кем работали евреи	215
Альберт Ритенберг. «Зачем я говорил. Кому. Я не о том.»	219

На последней странице обложки и в тексте Ю. Клятиса
«17 счастлих шевалье Аккуратова» – рисунки **Елены Осерсон**

ЛИТЕРАТУРА

Юрий Клятис

СЕМНАДЦАТЬ СЧАСТИЙ ШЕВАЛЬЕ АККУРАТОВА

Томный агент из бюро знакомств проникновенно посмотрел на Аккуратова и сказал следующее:

– Наш профессиональный долг – служить делу единения сердец. А сердечко-то у вас, дружок, сыромятное – мы физиономисты. – Он выключил компьютер и откинулся в кресле. Затем достал из кармана крохотную записную книжицу, полистал и многозначительно подмигнул, – Уж падать с коня, так с большого. Эх держал для себя, но уж так и быть – отдаю. Поверьте моему опыту, это нечто... – Агент прикрыл глаза и закачался. – Кровь с молоком, да что там, ананасы в шампанском!.. Она как вошла, на меня так и нахлынуло, извините за откровенность, я вам как мужик мужику... Словом, берите и не пожалеете. Желаю удачи, счастливчик!

* * *

– Вот что, хочешь, чтобы я с тобой жила, – должен меня во всем слушаться! Ясно?

Аккуратов поспешно кивнул, соглашаясь.

– Вначале я должна тебя испытать. Ты за березу или за осину?

– Береза! – выпалил Аккуратов, не задумываясь. В следующую секунду, предчувствуя подвох, пояснил, – На осине Иуда повесился, – и уж, разглядев в ее лице тень недовольства, тихо добавил, – Осина не горит без керосина... Впрочем...

– Никаких впрочем! С тобой все ясно.

...Аккуратов тотчас вспомнил расхожий детсадовский тест: за луну или за солнце. „За луну – за советскую страну, за солнце – за пузатого японца“. Эта наивная проверка на лояльность была вполне в духе времени...

– А моя бабушка говорит, береза хорошо горит, но быстро тухнет, – она поучающе склоняла голову в такт словам. – Осина горит медленно, зато долго. Сильный огонь обожжет, а слабый согреет.

Аккуратов уже понял оплошку и юркнул куда-то под вырез, в уютную, солоновато-сладкую, ритмично вздымающуюся и опадающую бездну.

– Ага! Уже лезешь? Я начинаю жалеть, что пришла. – Она ловкими движениями мазнула помадой по и без того малиновым губам и щелкнула сумочкой. – Мы, женщины, – тоже люди, с нами тоже надо считаться. Вот когда увижу, что ты собой представляешь, когда пойму, что с тобой стоит иметь дело... А пока рано. Я, во-первых, к тебе еще не привыкла, – и она кокетливо шлепнула Аккуратова по губам, одновременно оттолкнув его от себя. Потом игриво отстранилась и показала бело-розовую зефирину языка в форме всеми очевидной, но весьма привлекательной неприличности.

Аккуратов потупил голову, но и здесь схитрил, уткнувшись лбом в неестественно жесткую для своих размеров грудь.

Как ни странно, это было позволено. Более того, Аккуратов был удостоен извинительного поглаживания затылка с побуждающими к действию импульсами.

Видимо, решив пожертвовать малым в достижении большего, а может быть, не находя ничего предосудительного в бесхитростных прикосновениях для завязывания деловых контактов, она, предупредив строго-настрого, чтоб не кусался, спросила:

– А какой у тебя оклад? У меня такие алименты, что мне можно и не работать. Но нам, женщинам, так много всего надо... Я люблю так: понравилась вещь – купила, разонравилась – выбросила. Кто для кого: мы для вещей или вещи для нас? Моя бабушка говорит: „Что по сердцу, то и по карману“ – правда у меня бабуля-мудруля?“ Да оторвись же, прямо маньяк

какой-то!.. – Она энергичным жестом возвратила грудь в привычные пределы. – Заигрался... Игрун какой... Забалуешь вас... Женщина – это не игрушка! Все вы хотите, чтобы вас любили и ублажали, а жениться – вас нету, вам только свое получить и дёру, а взять под свою ответственность порядочную женщину – слабо!..

Постепенно ее голос растворялся и таял в ванильном запахе пряничного домика, куда был приглашен Аккуратов на собеседование. Голос удалялся, становился гулким и нечетким. Зато четкой становилась большая фиолетовая муха, каким-то волшебным образом сохранившая себя до поздней осени и совершенно сказочным способом очутившаяся за окном, а затем и вовсе исчезнувшая из поля зрения Аккуратова, так как он, видимо, задремал.

– ...терпеть не могу этих мальчиков-пополамчиков. И не поймешь, как приходится: не муж и не приятель – как называть и не знаешь. Обстирывай, корми, обмывай, пьяные глупости выслушивай, ложись и ублажай всячески, а он в один прекрасный день – швырь ключики на стол и даже не обернется...

Она перекинула роскошные ноги одну на другую, от чего Аккуратову передались ее волнообразные движения, и его голова съехала ей на колени. Помедлив, она скатила аккуратовскую голову со своих колен, сказав:

– Брысь-брысь-брысь! Разнежился... Если бы вы, сударики-гусарики, знали, сколько вы нам крови испортили. Нашу преданность вы не цените, за нее отработываете кое-как, и правильно мы делаем, что изменяем вам. А чего ради? Мы вам всю нашу молодость и красоту отдаем, а вы нас топчете ногами. Я уж каких отшивала: бывший капитан первого ранга, вдовец, седые виски, пахнет шипром, – она загнула изящный палец, – бывший замдиректора по общим вопросам производственного объединения „Мягкая игрушка“ министерства легкой промышленности – два. Машинист порталного крана из Хайфы, знаешь сколько они заколачивают? И нечего хмыкать, уж вас-то, попрыгунчиков, – сорной травы меньше.

Она назидательно повела собольими бровями, наставительно и отрого поглядела на Аккуратова:

– Послушай! Вдруг ты узнаешь, что я тебе изменяю... Что ты со мной сделаешь? Как это не знаю? Как это „ничего“? – Она разочарованно моргала. – Ну-и-ду-рак! – Она четко выговаривала каждый слог, губы кривились в хищном извине, обнажая золотые коронки. – Ведь я тебя уважать перестану. Какой же ты после этого мужик, если не можешь бабу к рукам прибрать? Надо во как в руках держать. – И она скомкала пальцы в кулак на женский манер, полуфигой, потрясла им и дидактически ткнула Аккуратова в лоб. – Понял, счастливчик? – Потом с клозетным шелестом развернула пахнущую туалетным дезодорантом фиолетовую карамельку, жеманно, одним зубом откусила половину и втокнула вторую в рот Аккуратову.



– Ну скажи по совести, мне нужна абсолютная гарантия, что ты меня не бросишь. Ведь ты меня не бросишь? – спросила она конфетным контральто.

– Конечно нет! – воскликнул Аккуратов со сценическим пафосом. – Что я дурак? – Потом подумал и уже серьезно спросил, – А как насчет любви?..

– Знаешь, кончай эти разговоры! Я женщина тяжелого поведения и мне лишний раз про любовь петь не надо: сперва женись,

а потом люби... Я для себя давно решила: полюблю того, кто на мне женится.

– Я должен подумать...

– И думать нечего: лучше меня ты не найдешь. Я и красивее тебя, и моложе, и умнее, и в жизни понимаю больше твоего... Я тебе сроку дам до... до... – она вытащила из сумочки календарик, весь исчерканный пометками, очень понятными всем женщинам и врачам пикантного направления, – сроку я тебе дам до первого ноября. Поспешి разобраться в своих чувствах, и чем раньше, тем лучше для тебя.

Она сердито стряхнула с себя Аккуратова, в ее руках была не женская порывистость и сила. Но тут же опять обмякла и замерла. Поманила одними пальцами, как это делают совсем крошкам. Подставилась, но голову отвортила, открыв не совсем безупречную по красоте, но вполне чистую шею. Помолчала, то ли что-то соображая, то ли вслушиваясь в себя. Повела лисьими глазками как-то по диагонали и закрыла.

– Ну давай... Скоренько... Можешь не в меня?

* * *

Первого ноября с огромным букетом и мокрым зонтом в руках Аккуратов стучался в пряничный домик. „Только бы не мать, – подумал Аккуратов и постучал сильнее. – И не бабка“. От сознания, что он может увидеть их плебейски-надменные, искаженные мелочной принципиальностью лица, ему сделалось тоскливо.

Дверь открыл ее братец, в руках у него был совок с мусором. Не давая войти Аккуратову, он просунул совок наружу и вытряхнул содержимое. При этом он продолжал разговаривать с кем-то в глубине дома.

– Давай входи, – не обращая внимание на торжественный вид Аккуратова, братец удалился. Но перед тем как скрыться за дверью, за которой люминесцентным сиянием полыхнул телевизор, спросил, – Ма нишма?

Стоять в чужом коридоре и вслушиваться в шорохи и бормотания было неприятно. Аккуратов подкрался к ее двери, вновь

принял торжественную позу и решительно толкнул дверь. Дверь дернулась и зацепилась.

– Кто там? Если к телефону – меня нету!

Внезапно Аккуратов увидел ее в створе двери, вертикальный высвет лба, пышный рот со слизанной помадой, складочки-перевязочки под горлом... Как он мечтал о ней в милуим! У Аккуратова перехватило дыхание.

– Ты зачем? У меня гости, нельзя. Приходи завтра... Или, знаешь что, не приходи совсем. Я с тобой жить не буду. Ты мне не-нра-вишь-ся! – выразительно продекламировала она. Потом через паузу почти спокойно прошептала: – Я уже давно люблю другого.

– Это неправда!

– Правда-правда-правда.

– Впусти. Я хочу поговорить.

– А я не хо-чу, – прошипела она.

– Ладно уж, открывай. Лучше здесь, чем через двери перетиркиваться, – послышался из глубины комнаты доброжелательный баритон, – это у нас как-то не по-людски получается.

Она помедлила и с явной неохотой впустила Аккуратова.

– Только на пять минут, понял?

Аккуратов вошел в комнату, такую знакомую и ставшую почти родной, несмотря на множественные отпечатки пальцев всех временщиков, соискателей души и тела, жизнелюбцев и страсто-терпцев со спортивными фигурами и неспортивным поведением, вдохновленных любовью и приземленных постелью, с четким абрисом лица и лицом размытым и разменным как юбилейная монета. Теперь же присутствие нового фаворита делало эту комнату чужой и неудобной.

Гость сидел в небрежной позе, театрально облокотясь на раскрытое пианино, и весело, даже победоносно, взирал на Аккуратова.

– Поздновато, молодой человек! Как говорится, непрощенный гость лучше татарина. Но лучше позже, чем никогда, сказал еврей, садясь на поезд. Да садитесь, то есть присаживайтесь, сесть успеем еще. Бойся гостя стоячего, – он заговорщецки подмигнул Аккуратову, – Так что, будем знакомиться? А то не

представились друг дружке и сразу в разговор. Зайчиковский! Что ж удивительного здесь? Мы расписываемся, и я беру ее фамилию. Вполне законно...

– Уже подали заявление?

– Ээээ... Почти. А вы, случаем не с компрессорного? Нет? Там браковщик тоже Аккуратов был. Не родичем приходиться?

– А вы не полицейский? – не без злобы спросил Аккуратов.

– Точно! – без смущения кивнул Зайчиковский, – А как поняли? Морда, что ли тупая? Ха-ха-ха! Зай, у нас там ничего не осталось от вчерашнего, а? Ну, Зайчик, давай по бабульке, за знакомство, ведь не чужие, а? Воооот! И себе возьми стопарик. Да не пузыритесь вы, прямо как не родные. А закусь где? А закусь у нас не слабая: апфель-зин, то есть, яблоко со смыслом. Зай, и ты с нами, за компанию...

– Я не буду!

– Ну, Заааай...

– Я сказала!

Зайчиковский покорно вздохнул и поднял рюмку. Потом задумался, обозначая паузой торжественность момента, и чеканно, как, видимо, учили в школе, продекламировал:

– Чтобы елось и пилось. чтоб хотелось и могло, чтобы в счастье и беде было с кем и было где! Ну, пригубили.

Они выпили и закусили дольками. Выпитое оказалось настолько крепким, что Аккуратов закашлялся и уж больше от смущения, чем от потребности, пукнул.

– Вот так фокус, – изумленно вскинул брови Зайчиковский, – у вас, я вижу, не в то горлышко попало, вероятно не часто такое пробуете? А у нас этого зелья – хоть залейся. Так что пообвыкли.

Зайчиковский роскошно прикурил, по-гусарски закинул ногу на ногу и лихо щелкнул портсигаром.

– Нуте-с, милостидарь, ладно... Расскажите что-нибудь о себе, только не увлекайтесь, ради бога, а то время позднее, нам опочив держать пора. Верно я говорю, Зай?

Зай мрачно ослабилась и многозначительно придавила сигарету:

– Так! Кончайте этот маразм! Пусть он уходит.

– Нет, ну пусть, пусть. Что ты напустилась? Видишь, на нем лица не стало. Только пришел, и уж уходи – это негостеприимно получается, вообще не по-нашенски, не по-черновицки.

– Я, знаете ли, маленький был, часто падал, – начал Аккуратов, – все головку ушибал...

– Так-так, уже интересно. Вишь, Зай, получается у гражданина, а ты: пусть уходит. Нет уж! Рассказывайте, сударь.

– Все головку ушибал... Вы позволите? – Аккуратов дотронулся до графинчика с коварным питьем.

– Разумеется, дружище.

– Ему хватит.

– Душа меру знает, пейте, мой друг.

Аккуратов выпил стопку, поспешно налитую ему, и разом закашлялся, заслезился, засморкался. Зайчиковский, заглядывая в глаза, услужливо постучал по спине. Аккуратов промокнул глаза.

– Все падал, падал. Со стула, со стола, со шкафа... Однажды во дворе в штандер играли. Я наступил на мяч, и упал, и головой ударился. Не было больно, но все вдруг стало нерезким и почему-то зеленым. Вокруг меня замелькали пестрые лоскутки, и дети хорошо поставленными голосами загорланили рифмованные дразнилки. Потом как бы издали я услышал голос своей невесты – у нас у всех в детстве были невесты – и хотя я не видел ее, точно знал, что она стоит прямо передо мной, что она гневно топает своей вывернутой ножкой, что косички разметались, а глаза и рот сбежались к носику: „Всегда он вот так! Всегда все испортит, дурак противный! Уходи!“ А потом подошел председатель ревизионной комиссии, показал желтую карточку, и меня исключили из игры. И вот, представьте, с тех пор так больше в игру и не включают...

Зайчиковский недоуменно, с вялой гримасой посмотрел на свою подругу. Та устало опустила глаза и нервно задрезжала:

– А я знала, что этим все кончится, вот и расхлебывай сам. Ну к чему он все это? Ох, если бы ты знал, как я от него устала, как он меня замучил. Все ему не ладно, во всем он видит только плохое. Я от него заикаться стала. Он не разрешал мне унитаз толчком называть. Представляешь?

Произошла немая сцена, в которой звуковым оформлением нехстати явился шум сливаемой в туалете воды и последующий за ним стук двери и щелк выключателя.

Зайчиковский склонился к уху Аккуратова и, не разжимая губ, промычал доверительно:

– Между прочим, у вас нет хорошего сексопатолога по знакомству?.. Жаль. – Он резко встал и щелкнул каблуками. Встала и она, склонив по-голубиному голову. Зайчиковский сводил и разводил руки, а Зайчиковская запахивала разъезжающийся на груди и на бедрах халатик.

- Приятно было познакомиться...
- Очень хорошо посидели...
- Не пропадайте совсем...
- Пусть обещает...
- Удачи вам...
- Бааааай...

* * *

Томный агент из бюро знакомств проникновенно посмотрел на Аккуратова и сказал:

– Мдаа... Такую дамку сохранить... – Он сокрушенно покачал головой и прикрыл ладонью глаза. – Надо вокруг нее капканов наставить и самому сесть в укрытии с ружьем. Но ничего! Не надо отчаиваться, подыщем что-нибудь и для вас подходящее. Где наш черный список? Вы уж простите, так я его называю, там у меня клиентура нестандартная, так сказать, специфическая... Есть у меня экземплярчик – ух, росомаха – так бы и проанализировал ее, но... По долгу службы не заинтересован. Не женщина, а черная роза в бокале... Да уж знаю, голубчик, знаю-знаю, – агент небрежительно скривил две трети лица (еще треть лица занимал подбородок), – с вас будет и жасмин. – Потом, как бы спохватившись, примирительно пропел, – Жасмин – хорошенький цветочек, он пахнет очень хорошо... Раз-два, опси! – он витийным жестом выхватил из картотеки бумажку, – поспешите, счастличик, на носу весна, щепка на щепку, знаете ли...

Когда совсем плохо и вдруг – чуть лучше, то вроде бы и совсем хорошо. Аккуратов знал, что длительное воздержание неизбежно приводит к любви. Поэтому он по возможности не воздерживался и как мог еженощно отвоевывал у природы ее власть над собой. Как-то выщипнул он из какой-то инструкции, что любовь – это результат перемещения какого-то вещества (есть даже химическая формула) то ли из гипофиза в гипоталамус, то ли наоборот. Любовь – скользкий секрет... Но и тайная тайна! Нет, Аккуратов боялся любви – феерического состояния души и тела, при котором теряется разум, но приобретаются крылья. И, сложив руки крылышками, а губы сердечком, Аккуратов устремился к телефону-автомату.

На встречу явился малец в рваных джинсиках и огромных кроссовках с распущенными шнурками. Он уже подждал Аккуратова, перекатываясь с каблучка на носок, руки в карманах. Несуразная фигурка маленького мужичка с надменным поглядом мизерных глазок, поверите ли: паршивый мальчонка. Он вскарабкался взглядом по Аккуратову, но в глаза не глянул, обойдя их где-то у виска, и также вниз, брезгливо подмяв залихоражденные губы.

– Ну? Так и будем стоять? – Он круто развернулся и похлял, как бы цепляясь ногами за трудный грунт. Он шел, не оглядываясь, ни секунды не сомневаясь, что за ним покорно следуют. Так они шли: спереди сутулый недомерок со старческими глазенками, а сзади ошеломленный и вконец растерянный Аккуратов.

Наконец, почувствовав, что достаточно помучил дядю, малец притормозил и, не оборачиваясь, заговорил:

– Играю в коцы, в тринку, в чмэн с битьем по рылу, курю горлодёр, дружу с собаками, кошек и баб ненавижу, занимаюсь онанизмом. Хочешь со мной васькаться – держись крепче.

Он резко крутанулся на каблучке и впервые посмотрел Аккуратову в глаза. Потом медленно отвел в сторону и вздохнул, мол, намучаемся мы с тобой. Достал портсигар с монограммой, ловко стрельнул сигаретку в рот и стал ее гонять из угла в угол.

– Не куришь? Ха! – И сам ухватисто прикурил. – А по кружечке сообразим? Я угощаю – ты платишь. – Он лукаво сощурил зме-

иные глазки, выхватил откуда-то карманную тараночку, размером с гупию, щелкнул ею по ляжке, произвел ей винтовой перекрут и смачно нюхнул.

В кафе, куда они зашли, все столики были заняты, кроме одного посередине: там и сели. Разом высадили по кружке бочкового, при этом мальчонка слишком уж лихо, одним фуком снес шапку пены и, гулькавая горлом, посетовал, – Недоваренное... Вот у нас в Черновцах пиво... Давай еще по одной?

Вторую кружку он пил уже степенно, не торопясь, как и положено бывалому бражнику, завсегдатаю пивных гнойников. Он важно и значительно оглядывал сидящих в кафе, он заговорщицки подмигивал и глазом, и ухом, и ртом. Допив пиво, он сдвинул кружки на край и покивал кистью руки, предлагая потягаться в силе. Аккуратов смутился и наотрез отказался: эти плебейские ристалища он никогда не любил, а тут – в кафе, да еще с ребенком... Но ребенок не в меру разохотился: стал предлагать фору и удваивать ставки. Окружающие напряженно следили за происходящим.

„Уложу поганца, сокрушу золоторотца, устыжу соловья и стригану восвосяи“, – думал в запальчивости Аккуратов, закатывая рукав.

И пошла потеха: малец распалился и требовал теперь уступок от противной стороны и особых условий для себя. Аккуратов согласился и торопился покончить прю. Он уже давно принял бойцовскую стойку, и рука начала затекать. Схватились. И тут же поганец вырвал руку, – Иду на мировую!

Аккуратов все проделал четко и быстро. Он решительно восстановил бойцовскую стойку, до хруста сжав кисть юнца, произнес: раз-два-три, и со стуком плюхнул почти безвольную руку в блюдце с хумусом. И еще пару раз макнул для наслаждения.

* * *

Томный агент из бюро знакомств печально посмотрел на Аккуратова и сказал:

– Скажите спасибо, что так легко отделались: поднять руку на чужого ребенка..., да еще в присутствии родственников-свой-

ственников. Каким надо быть простаком, чтобы не понять, чтобы не догадаться, что все столики в кафе заняты ее погаными родичами: братьями-дядьями, матушками-тетушками, двойняшками-племяшками... – агент задумался и уже другим голосом спросил, – А между прочим, сам объект-то вам как? Понравился!? Даааа, она даже очень... Но с таким мынушкой у нее почти нет шансов. Хотя... Она держала себя в полиции совсем неагрессивно... Но ладно! Что было – то было. Вперед! К новым победам! Никаких роз и жасминов. Завтра начинаем новую страницу в жизни: у меня уже все схвачено, все созвонено и договорено. Я уже на вас не полагаюсь, опять все испортите или в какую фекалиозу вляпаетесь. Хоть завтра, вот по этому адресу, с вещичками, и чтоб без всяких там вимлен-швиблен. Ясно? Желаю удачи, счастливчик!

* * *

Фамилия ее была Твердохлеб. А имя... Зачем имя... Она была хорошая, эта безвозрастная девочка, легкая, говорливая барышня с кукольной мордашкой, с реденькой челочкой над бездумным лбом, пустынькими глазками, подрисованными за-слюнявленным карандашным огрызком.



У нее было среднемедицинское образование. В белом халатике и колпаке она очень даже смотрелась. О, женщина в белом халате! Та, что придет и утешит, та, что поймет и пожалеет, высморкает нос, почистит ушко, исторгнет прыщик, почешет спинку и спрячет твою извечную невзгоду в заветную складочку... Ах, белохалатые толстушки, такие невзрачные и невидные из себя, совсем обыкновенненькие в своих вязаных свитерках где-нибудь в автобусе или магазине, но такие обворожительные с ртутным столбиком в руке либо капелькой на кончике иглы. И вы, воспитательницы детсадовские, кастелянши и нянечки, методисточки наших душ, сестрички-хозяйюшки наших бедных сердечек, милосердные мамы в белых чепчикках с кружевной наколкой. Аккуратов помнит вас и с детства любит.

Белый халат – символ покровительства, заступничества и утешения. Он просил свою лучезарную подружку: „Надень...“ Она удивлялась искренне: „Это же рабочая одежда... Давай, если ты уж так загорелся, я надену пеньюар!“ – „Нет, пожалуйста, халат и застегнись...“ Она застегивала на спине пуговицы и подпоясывалась, отчего ее грудь становилась еще величественнее, а талия, между прочим, тоньше.

Вот так они и жили. Может быть не слишком возвышенно, но по-своему счастливо.

Супруга Твердохлеб была, как теперь говорят, без комплексов. Всегда довольная собой, жизнью, купленным, съеденным, просмотренным, услышанным. Не сейчас, так завтра. Не целиком, так вполовину. Она жила в лакричном мирке, населенном плюшевыми зайцами и крепжоржетовыми мотыльками, и все, к чему только ей не случилось притронуться, она превращала в игру. Все вещи в доме были расставлены или уложены не по принципу удобства и порядка, а в соответствии с эстетикой ее кукольных фантазий. Со стен свисали пестрые хламиды, повсюду были натяканы картинки и статуэтки, корзиночки и флакончики, шкатулочки и вазочки. И масса искусственных цветов: ко всему натуральному она была равнодушна и по возможности облакала в драпри. Любовь она тоже превращала в игрушечный спектакль.

„Давай поиграем“, – говорила она. Ну как ей можно было

отказать?.. И багроволицый идол обряжался в чепчики и рюшки, проделывался макияж. „Тебе жалко? – тараторила она, – Есть вещи общего употребления, а это мое! Мне так хочется. Дай!“ И были у нее для любви своя терминология и умозрительные словечки: „прощание славянки“, „дилижанс“, „мельничка“, „птичье молоко“. „Скажи, – спрашивала она, засыпая, – если я вдруг умру, ты будешь плакать?“ „О чем ты думаешь? – спрашивала она, и тут же, – Ты же знаешь, я не люблю, когда ты молчишь... Мне показалось, что ты меня разлюбил... Если ты сейчас же меня не поцелуешь, я обижусь навсегда...“

И был поцелуй, и все начиналось сызнова. При этом надо иметь мужество признаться, что супруга Твердохлеб, несмотря на исключительный талант к любовным проказам в любое время дня и ночи, украдкой, экспромтом и под шумок, где-нибудь за портьеркой, на дверной ручке, в мимолет, – конечной цели не стремилась и сатисфакции не ведала, однако с великим интересом и сочувствием наблюдала за каскадами супруга, утешая его: „Ничего-ничего, потерпи, сейчас пройдет...“

Но зато она обожала поцелуи и требовала поцелуй ежесекундно, иногда с набитым едой ртом, или жуя „мастик“, или посасывая леденец. Языком при этом она проделывала такие многосложные комбинации, что создавалось впечатление, будто их у нее там несколько. Поцелуи были разных категорий от простого „лобзика“ до величественного „безе“. Экстренную необходимость в поцелуе она выражала особым скосом широкопоставленных глаз и натяжением губ в ярко-бордовый бутон. Расставаясь по утрам, она проговаривала взхлеб: „Ну... Последний разочек... Все, я побежала“. И вдруг изобразит страдальческую ужимку с закусом губ и ностальгической грустью в нарисованных глазках: „Боже мой, как я тебя хочу...“

В доме царил закаменелый хаос: постель не убиралась, посуду не мылась, попугай не кормлен. Найти нужную вещь было невозможно. „Аккураша, тебе не попадалась моя белая босоножка?“ Вместе они залезали куда-нибудь под кровать и там, среди клубков свалявшейся пыли затевалась любовная возня. Этим же заканчивалась любая попытка генеральной уборки, стирки или передвижки мебели. Иногда затевалась грандиозная

пищетерапия. На кухне шкворчала сковорода и разносился чесночный дух. На секунду впархивала она, неся в хрустальных котлетках котлетку. Она подставляла бордовый бутон: „Вначале заслужи!“ А заканчивалось все сеансом любви под тяжелый угар забытых на плите котлет.

Такая была эта женщина. Аккуратову с ней было хорошо, весь день был заполнен ее экспромтами где-нибудь на куче нестиранного белья или у полной мыльной пены раковины. Ах, как она повизгивала...

Но у супруги Твердохлеб один... два... Нет, целых три, но существенных недостатка. Что ж, все мы не совершенны вполне. Супруга Твердохлеб не слишком отличала музыку от уличного шума, книги и газеты не читались, телевизор не смотрелся, радио не слушалось. У супруги Твердохлеб не было юмора. Анекдоты, каламбуры, остроты она не понимала и просила толкований, однако поняв, смеялась долго и пронзительно. И совсем становилось не смешно, когда на супругу Твердохлеб находило пофилософствовать, заявить-де свою жизненную позицию. Она начинала витийствовать на заданную тему, язык ее путался в словесных конструкциях, попадая в ловушки и тупики: „собственно если как говорится это самое вообще так сказать...“

Она долго смотрится в крохотное зеркальце, заглядывает в него то одним, то другим глазом, выворачивает веко, оскаливает зубки, вываливает язык... „Я должна все время смотреть только на красивое, слушать только комплименты, думать только о приятном. Морщинки появляются не от возраста, а от неприятностей...“

Однажды она пришла домой намного позже обычного, опять смотрелась в зеркало, задумчиво сплетала и расплетала косичку. Потом медленно, не отрывая взгляда от своего отражения, спросила: „Аккуратов, тебе со мной хорошо?“ Аккуратов, как это часто бывало, обнял ее сзади и лизнул за ушком. Она потерлась щекой об аккуратовский вицмундирчик и проговорила еле слышно: „Мне тебя будет нехватать...“ И вдруг резко повернулась, опрокинула свое мальвинье личико и ненатурально, слишком широко улыбнулась: „Ничего особенного. Мы расстаемся...“

Она рассказала обо всем. Назначили ее делать цикл уколов одному известному барду. Цикл состоял из двадцати сеансов. Видимо, она слишком низко склонялась, отыскивая нужный игле квадрат, и слишком уж дышала на бардовские чресла. Уже третий сеанс стал первым в их тесной взаиморасположенности.

„Хочешь, я вас познакомлю? У него гитара на заказ, и такой красивый баритон... И руки такие сильные: он меня крутит, как куколку... Аккураш, дай слово, что не будешь сердиться. Ммм? – она лизнула его в щеку и дурашливо тряхнула болончий начес. – Все-все-все, молчишь, значит не сердись, я тебя знаю“. Потом томно и вкрадчиво, будто оправдываясь, будто растолковывая азбучную истину: „Вот у тебя есть я, а у него ни-ко-го. Он совсем один, разъединный-одиношенек. Мы сейчас вдвоем, сидим, пьем чай, разговариваем, а он один, бедненький. Сидит себе у окошка, курит и ждет укольчик. Нельзя быть таким бессердечным... Я вас обоих люблю, но по-разному: тебя как сынульку, а его как папульку... Ну не грусти, я тебя очень прошу, ты же у меня кисонька? Хочешь поиграем?..“

Уже в постельной духоте, после того, как ночные духи, покрывшись над печальными любовниками, угомонились, все еще слышался ее прерывистый шепот:

„...И потом, это я тебе как самому близкому человеку... Я думала, лучше тебя... ну в смысле мужчины... лучше тебя нет и быть не может. Ты такой ласкучий, просто кисонька. Пойми меня правильно, как женщину. И ты, и он – вы оба хорошие, но по-разному совсем: у него все такое настоящее... Я как дотронулась – аж глазам своим не поверила, совсем другое ощущение. Аккураш, ммм? Можно я с ним поживу? О господи, опять он плачет... Успокойся, ради бога, я ж не навсегда. Осталось восемь уколов. Считай сам, – она стала загибать пальцы Аккуратову, – завтра – одиннадцатый, послезавтра – двенадцатый, послепослезавтра – тринадцатый, видишь? Потом я три дня не могу – у меня „эти дела“... Видишь, уже шестнадцать! А там, не успеешь соскучиться, и я – тут как тут. Думай, понарошку, как будто я в творческой командировке. Ммм? Да не плачь, хочешь, я буду приходить кормить тебя? Буду тебя жалеть... Послушай! Аккура-

тов! Что я придумала... Ну-ка целуй... Целуй-целуй! Так вот: пусть он живет у нас... Ну! Скажи, я не умничка? А хочешь, я тебя с одной фельдшеричкой познакомлю, она у нас в физиотерапичке оборудованием заведует... Так она очень замуж хочет, а у нее одного уха нету, ну и вообще... Какая она аккуратисточка, вы друг другу подойдете... Все у нее по местам, все разложено, а разговаривает – икс мидебибер. Она уже приданое для будущего ребеночка заготовила, распашонок-чепчиков навязала гору, а мужик на находится. Ну где у вас, у мужиков, глаза? Мы ей: да согреси с кем, кто покрасивше. А она: нет, я хочу, чтоб все было по правилам, можно, чтоб без свадьбы, можно, чтоб человек в годах, но обязательно, чтобы разведенный. А ты и есть разведенный. Смотри сам: все совпадает. Ты за ней, как за каменной стеной будешь...”

На другой день пришел бард. Вернее сказать, пришел Аккуратов со службы, а бард – нога за ногу, на дырявом носке повисла аккуратовская шлепанца (умирать буду – не прощу), на страусиной коленке расписная гитара. У ног его, в позе востроенной одалиски сидела супруга Твердохлеб и внимала пению барда. Пением это назвать было нельзя: теребя струны нетрудовой пятерней, бард монотонно интонировал претенциозный куплет, его рачьи глаза были устремлены в песнь, кадык рвался наружу. Не оборачиваясь, супруга погрозила пальчиком, чтобы, упаси господи, не помешал, но бард, скаля длинные зубы, истерично рывкнул и рванул аккорд. „Гениально... – прошептала супруга Твердохлеб, – нечто, нечто...” Она подкралась боком к Аккуратову и, лучезарно радуясь, просипела: „Я умоляю...”

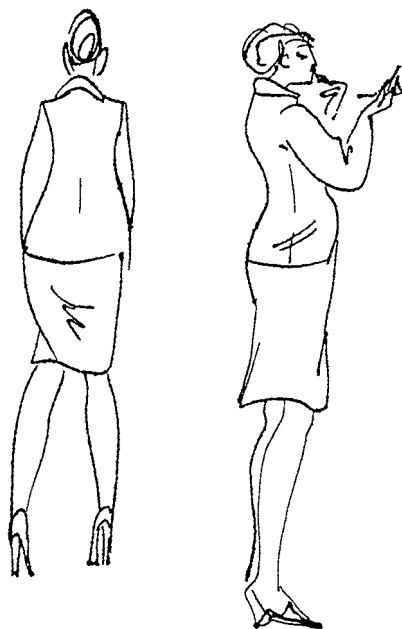
Пили чай, молча. Супруга делала предупреждающее в последний раз лицо. Потом: „Мальчики, быстро мыть ноги!” Большая любовь делается чистыми ногами.

Аккуратову постелили на кухне, выдвинув холодильник к плите. Перед тем, как погасить свет, супруга Твердохлеб, по-мушинуму потирая ручки и лицо, вымазанные кремом, присела на постель Аккуратова. Она глядела на него и молчала. Аккуратов выпростал из-под одеяла руку и сделал пальцами о-кэй. И глаз сощурил...

Аккуратова вернул к действительности гипертрофированный

шепот: „Подожди, он еще не заснул, он все слышит. Может не надо сегодня?..“

Аккуратов внезапно вспомнил, как они надевали сапоги. Обычным манером застегнуть молнию на полненьких икрах ни медсестре ни ее супругу не удавалось, и для этого супруга Твердохлеб ложилась на спину и задирала ножки кверху, чтобы кровь отлила. И сам Аккуратов способствовал этому, разглаживая лодыжки и голень. А потом, хоть и с трудом, голенища сапог сходились, но ноги супруги Твердохлеб еще долго были разъяты, потому как быть всенепременно сомкнутыми им препятствовала восторженная плоть ее влюбленного супруга.



„Мы мало были на людях, не ходили в филармонию, а она, видимо, тянулась к светлomu, возвышенному, и вот интуитивно набрела на саблезубого. Боже мой, ведь он ее искромсает... она такая тэндитная, а он...“

По селезеночному ёку и подвздошному эку Аккуратов угадал, что была его душечка стиснута рукою властной и мускулом бескомпромиссным. Затем по малиновым вздохам и по ноздревому

сипу, по торопливому лепету и умильному чмоку осознал: свершается.

Но, как известно, сердечко у Аккуратова не из корунда. Гой еси, тебе, мужчина справный, исполать, тебе, детинушка велий! Пошто ты так? Не отнимай утеху, не бери греха на душу!

Аккуратов загулькал горлом, заревел, завыл нехорошо. Рванулся вверх, ткнулся пятерней во что-то липкое, свалил что-то, стоявшее на краю, стеклянное, видимо, конфетницу, которая с капризным дзеньком запрыгала по полу, но не разбилась, шевельнул репродукцию индустриального пейзажа в ширпотребском багетике, запутался в собственном шарфе машинной вязки и, наконец-то, вывалился за дверь. „Во блажной... чего это с ним?“

Как чего? Обидно же!.. Когда при тебе расчленяют твою душеньку, болоночки да мосолочки – все твое... Кровь стынет в жилах. Некий ученый провел такой эксперимент: отсадил самочку орангутанга в клетку соседа, от живого-то мужа! И сосед делал самочке орангутанга любовь на глазах у супруга... Какой шарм! Так у того инфаркт случился... Это обезьяны. А ведь Аккуратов – человек.

Аккуратов выскочил в коридор, заметался в темноте и побежал по лестнице наверх, на последний этаж, на чердак. На чердачной двери висел замок, и табличка гласила, что ключ от чердака находится у председателя домового комитета, который проживает в квартире № 37. Не знаю, сколько времени прошло, только на лестнице раздались легкие шаги и к нему, облаченная в простыню и одеяло, как в страз и мафорий, вознеслась его активно-действенная супруга. Она взяла Аккуратова за руку и свела вниз.

В комнате горел свет. Хват-богатырь сидел за столом в аккуратовском халате, рукава по локоть. Он курил и с большой свирепостью поглядывал на Аккуратова. Рядом села супруга Твердохлеб.

„Это уже было со мной!“ – пронеслась в голове Аккуратова лукавая мысль.

– Иди себе, – сказал бард подруге, – мы тут с твоим малость потолкуем по-мужчински.

Она пересела на кровать, поджав под себя полненькие ножки. Она была сказочно хороша в этой позе и, вообще, в ее облике появилось что-то новое, доселе незнакомое Аккуратову. Он с жадным интересом уставился на нее.

Бард поиграл пальцами по столу.

– Мы тут обсудили нашу, так сказать, неординарную ситуацию и из гуманитарных соображений решили тебя не исключать из членов нашей семьи, со всеми вытекающими привилегиями...

– Он хороший! Он хороший! Безобидный. Получку всегда вовремя отдавал. И, вообще, аккуратный... Он же не виноват, что у нас с тобой так все страстно получилось! – встряла супруга Твердохлеб, в гуманитарном раже проглатывая верхнеязычные и задненёбные.

– Так что давай жить дружно, – торжественно возвестил саблезубый бард. – Айда в люлю и чтоб без цугцвангов!

Аккуратов печально усмехнулся: и это уже было... Он вспомнил свою армейскую службу, далеко отсюда, вечно туманной, звенящей комарами военчасти. Солдаты месяцами не ели мясного, ходили распухшие от мордобоя, кроме мата другой речи не слышали. Офицерье пьянствовало. Для сержантов были всегда наготове две жилистые прачки, которых звали Хиросима и Нагасаки. Их востребовали по многу раз на день и в любое время дня и ночи – им ничего не делалось.

Аккуратов вспомнил, как был поставлен охранять сержантскую оргию, и уже далеко за полночь, когда настырный дождь перестал восприниматься как погодные условия, дверь барака распахнулась, и из нее вывалились два пьянущих сержанта и, мотаясь из стороны в сторону, помочились себе на ноги. Потом, разглядев совершенно размокшего Аккуратова, один из них небожно хлопнул его по мокрой щеке и промычал: „Хочешь кочерыжку попарить?“

Аккуратов также вспомнил, что была у них в части еще одна дама, которая работала в хлеборезке, и на которую не отваживался покуситься даже вконец обезумевший от неудовлетворенных страстей служивый. Она была горбатая.

„Ну и что, – думал Аккуратов, – что горбатая? Можно представить, будто сутулая. Главное в человеке – душа, его мысли,

переживания... А так: женщина как женщина, лицо даже молодое и голос тоненький...”

Как-то он подкараулил горбунью, когда она выметала сор из хлебoreзки и без долгих обиняков предложил ей прогуляться в сторону стрельбища. Горбунья мгновенно поняла, какая ей льгота выпала, и простецки поинтересовалась, подняв на Аккуратова почти юное лицо:

„Как же ты меня, милоч, будешь... Ведь я горбатенькая совсем. Может не надо, слышь, может отпустишь? Во мне ведь сладости никакой“.

Но распаленный Аккуратов, подхватив горбунью под мышки, нес ее на вытянутых руках к сараю, бормоча: „Как-нибудь, мамаша, как-нибудь“.

„Как-нибудь не надо. Уж ты постарайся, милоч“.

Бережно положив горбунью на землю, Аккуратов отошел в сторону. На спине она не лежала, а как мумия из скифского захоронения полусидела, вытянув неестественно длинные руки вдоль тела, чуть не доставая пяток. Аккуратов ползал вокруг нее на коленях, суетливо подкладывая и подтыкая где камешек, где травки, а где и землицы холмик. А горбунья на его возню лишь взвизгивала: „Йех-ты! Ууух, чё деет! Во как разохотился-то на грех“. И с восхищенным удивлением воспринимала его торопливые хлопоты вокруг своей персоны.

Аккуратов попробовал было разогнуть горбунью, но та неприятно закряхтела, и он оставил это намерение. Но на спину он ее не мог уложить – мешал горб. Тогда он быстро, по-собачьи стал рыть ямку, выгребая и далеко отбрасывая за собой тяжелую землю.

„Чай комелек мне не застудишь? Слышь, сынок, – с интересом наблюдая за его работой, спросила горбунья. – Вон от земли сыростью тянет, потом по врачам не находишься.“

Подтянув горбунью к ямке, Аккуратов приладил в нее горб, расставил под нужным углом ноги, симметрично согнув их в коленях, еще раз критически взглянул со стороны на результат своего творчества, затем выхватил из-за пазухи измятый анемон, поспешно и жадно его понюхал и, мысленно представив игривую красотку с импортного чулочного пакета в своем, всегда включен-

ном воображении, закрыл глаза и с яростью погрузился в нетревоженные горбунины недра...

„Вот спасибо, сынок. Аж щекотка по ногам прошла. А ведь у меня два зятя, и ни один, подлец, не уважил. А ты такой ласковый... Звать-то тебя как?“

Аккуратов медленно, не раскрывая глаз и сцепив зубы, поднялся и, молча, на ходу застегивая брюки, побрел прочь.

* * *

В ту же ночь Аккуратов покинул супругу Твердохлеб, взяв с собой лишь клетку с попугаем.

* * *

– Ой, и у вас попугайчик? И у меня дома есть попугайчик... А у вас девочка или мальчик? Не может быть!.. Знаете что, давайте дружить попугайчиками.

Она курила через длинный мундштук, находя это красивым. У нее был старинный театральный кофр, предмет профессиональной гордости заезжего Несчастливцева, с одной стороны гастрольная достопримечательность, с другой – алтарь, культ поклонения ее первой любви. Множество пустячных безделушек, множество пыльных штофов и полуштофиков, блюдецек и ваз прекрасных самих по себе, но не в их утилитарном назначении, разумеется статуэтки и свечи, конечно же засушенные цветы и листья, определенно, малопрятный уют творческой натуры.

Закусив губу, она с усилием вынимает визгливую пробку из пустого флакончика, глаза ее бликуют тусклым индиго, нос описывает полудежье... Ааах!.. Она жмурится, она заходится в затаянном потяге, медленно поднимаются брови и смежаются веки. Запах ее молодости, ее первой любви, ее чистых ощущений.

У нее были красивые, слегка приплюснутые темные губы, которые в русской классической литературе вполне могли бы именоваться чувственными.

И глаза у нее были необычные, несколько растерянные, даже вопрошающие, как бы печальные, но изумительно томные, бес-

помощно кроткие и уж вовсе не зазывные или манящие в тайные тайны женской души и, конечно, плоти. Оставьте это! Разумеется, женские глаза... Только вот к чему все это: души, плоти?.. Без этого нельзя разве?

Но вот что да, то да: цвет лица у нее был шафранный. Не смуглый, не загорелый, а именно, как я сказал. Что еще сказать?..

Она сразу же объявила, что в качестве супруги – увы, не состоялась, и этим, как бы ставя все точки над *i*, спешила предостеречь: три официальных и множество неофициальных союзов сердец сделали ее циничной. Она машинально снимает и надевает на палец бывшее обручальное кольцо.

– Я сперва хотела отказаться от алиментов: раз мы ему не нужны, раз он нас знать не желает, жить с нами не хочет – не нужны нам его деньги. А потом подумала: чего ради? Он там наши денежки будет фуркать на свои удовольствия, а я с его ребенком ночей не досыпай, по больницам таскайся, перед соседями унижайся. Шкаф передвинуть – я, кран починить – я, замок ввинтить – опять я! Нет уж – нет уж, что я, стожильная? Добрые люди мне посоветовали, спасибо им, я опомнилась и наняла хорошего адвоката. Все вещи переписала, арестовала вклад в банке, постановление о невыезде... В критическую минуту столько энергии обнаруживается: врезала другой замок, условилась с соседями на случай, вдруг он вздумает меня ударить, к суду подготовилась: платье сшила строгое и прическу сделала эффектную – пусть все видят, какую женщину бросают... Но красиво ушел, подлец; все оставил, даже электробритву „Бердск“ не взял.

Она нервно тряхнула плечом и перестегнула заколку, продемонстрировав гладко выбритые подмышки.

Темно-зеленые обои, захватанные у выключателя, шкаф, перегораживающий комнату на две половины, пейзажик в металлической окантовке, что-то замохнатевшееся и сизое за зеркалом, чугунная подставка-сувенир под горячее...

„Это уже было, – подумал Аккуратов, – и там были темно-зеленые обои, захватанные у выключателя, шкаф посреди комнаты...“ По эту сторону будуарчик с восковым букетом в сколотой

вазе, зеркало с фотографическими карточками богоподобных мужчин, заткнутыми за раму, мохнатые лопушки какого-то растения в банке из-под растворимого кофе, поблекшая в своей непорочности кукла с вечным прищуром, расшитые гладью думочки и в нише необыкновенно благоустроенная кровать. А по ту сторону шкафа – таинственный скрип, невнятный вздох, звяк, шарк и шепоток, приглушенный кашель и часы с боем. Пахло пылью, прелью и еще чем-то неистребимо личным.

„Как же ее звали? Какое-то вихлявое имечко, то ли Виолетта, то ли Виолина... Она проворно впархивала сквозь ширму, с лету садилась визави, обжигала коленями, лоб в лоб, нос к носу, смотрела в упор, так что ресницы врукопашную. Она дразнила языком, играя глазами и качая головой, как бы говоря: „Нас надо заслужить...“ Она внезапно вскакивала и выбегала за шкаф, за ширму, и оттуда ее раздраженный и вовсе не почтительный сип: „Сама знаю! Ладно, не учи меня! Ну сколько можно одно и то же?..“ Она вновь влетала и с разбегу плюхалась Аккуратову на колени, ерошила волосы, спутывая со своими, обжигала дыханием, обжигала румянцем, щекотала мотыльками глаз. Ее кто-то кликал на кухню заговорщицким голосом. „Осссподи!“ – восклицала она, закатывая глаза, и убегала, а в прорехи ширмы то и дело просовывалась ассиметричная рожица мальчишки. Аккуратов выстреливал „шалабан“ в испачканный чернилами лоб, и рожица с веселым визгом исчезала.

Потом были приглашены к столу и все очень внимательно слушали, что говорил Аккуратов, и наблюдали, сколько он пил. Пили пустенький чаек с кизилковым вареньем, сама варила – молодец! Пальцы слиплись, а помыть – надо было идти в другой конец огромной семисемейной квартиры, продираясь сквозь посторонние взгляды и запахи. А она игриво нападала на него за портьерой, по-девчоночьи подскакивала на своих не по-девчоночьи роскошных ножках, закусывала губы и залихватски вминала голову Аккуратова в свой рубенсовский бюст: „Боже, я с ума сойду... Ты слышишь, я не выдержу“. Она кусала ему ухо и надрывно рычала: „Добился! Довел бедную женщину до умопомрачения?“ А в алькове, за плюшевым пологом фосфорическим блеском светилась постель.

О, постель! Иногда кровать, пусть даже койка... Купеческая, мещанская, внесловная, бесклассовая, интернациональная, деревянная, железная, складная-раскладная, стационарная, одно-полутора-двухспальная, вся жизнь наша – одна сплошная кровать...

Но это была не просто кровать, это было цветоложе... В алькове, за плюшевым пологом с бахромой, томно мерцающая перламутром простыней и наволочек, кружевных подзоров и узорных пальметок, подушки и подушища и думки всех мастей, не боящиеся никаких сверхнагрузок и землетрясений пуховики и перины... И все это сдобное месиво, возносящее и опадающее, обволакивающее и обтекающее, издревле назначенное для умиления, взласкания и взыграния взыскующей плоти, гнездо усмирения мятущегося духа, то единственное место на земле, где теплое тело живого организма, алчущего своей противоположности, наконец обретает ее, образуя, хотя и романтическую, но вполне реальную, и, что уж тут лицемерить, весьма и весьма критическую массу.

Ах, как она стелила постель! Это была поэзия, сказочная пантомима, исполненная мистического смысла и чародейства: уж не лебедь ли то белая и не снега ль то белы? Нет! То постель постланная, белоснежна-немята-незапятнана, взбиты сливки изголовья, хрустка корочка простынь... Чур, я у стеночки!

А за ширмой мальчишка спрашивал громко, почему мама будет спать не с ним, а с дядей...

Да... Так на чем мы остановились? Она курила через длинный мундштук с великосветским изыском, запрокидывая голову назад при выдохе, выпячивая темные губы, подтыкая мизинцем динодурбиновские кудельки за ухом. Ее арлекинный румянец, неестественно выпрямленная спина и дрожащие пальцы говорили об искусственно продлеваемой молодости.

В комнате темно. В три голоса, то отставая, то опережая друг друга, а то в унисон клацали часы. За окном шуршал затихающий город, слышался кашель и бормотание за стеной. А в промежутке между шкафом и холодильником – детская кроватка.

– Он скоро уснет...

Но он никак не засыпает.

– Мама, а как дядю зовут?

Они сидят в темноте и молча смотрят друг на друга. Она курит.

– Мама, а сколько дяде лет?

Кажется, что сердце стучит громче будильника. Аккуратову кажется, что он слышит, как топают тараканы по липкой клеенке стола, как трудолюбивый паук плетет свою сеть за зеркалом.

– Мама, а у дяди есть детки?

Сердца стучат и рвутся и не могут достучаться друг к другу, не могут покинуть тесного уюта грудной клетки. Стук сердец гулким эхом раздается в ушах, бьется барабаном в перепонках, пульсирует в каждой клеточке.

– Мама, почему вы молчите?

Не спит, чертенок. Как нарочно не засыпает. Попугайчики в клетках с любопытством прислушиваются к человеческой комедии. Где-то за перекрытиями послышался шум сливаемой в туалете воды. Аккуратов досадливо напрягся. Она всепонимающе прикрыла веки. В пору заснуть. Уже и не до страстей.

– Мама, мне страшно.

Вы слышите голос человеческого дитя? Не мешайте ему спать. Не мешайте ему жить. Оставьте ваши дьявольские намерения. Это никакая не любовь, это не страсть, это даже не инстинкт. Остановитесь! Так нельзя!

– Мама, пусть дядя уйдет.

Что же было в конце всего? Утром, высасывая из носика чайника третьеводнишнюю заварку, Аккуратов глядел в окно на испражняющуюся сучку чепрачного цвета и ее хозяйку в малиновой куртке, наброшенной на ночную сорочку, с неудовольствием думал, что начинать день, не почистив зубы, скверно, шагнул от угла к шифоньеру, стараясь не смотреть на развороченную постель и, сложив руки за спиной, все заводил и заводил часы в обратную сторону. Потом нервно ел глазунью. Доел и встал. И она встала.

– Пора, – сказал и почему-то посмотрел на испорченный anerоид.

– Позвонишь?

– Не знаю.

Она прильнула к нему, заглядывая снизу вверх.

– Ты меня не бросишь?

Это уже было, было много раз. И вот снова...

– Хоть обмани.

– Не брошу.

– Спасибо. – И заплакала. – Не обращай внимания, это от счастья.

– В чем же оно, твое счастье?

Она по-детски всхлипнула, вздохнула, глотнула, вытерла пальцами глаза и уже зло, почти с ненавистью посмотрела на Аккуратова.

– А вот в чем... – она ловко, с профессиональным вывертом ладони, властно и грубо стиснула Великого Анонима.

И это уже было! Было...

О, ты, предмет воздыханий, продавец-кассирша из овощного, плод помологический с легкой душой и тяжелой плотью, добрая и жадная, вещь в себе и для всех, казначейша живота моего... Ничего, я пережил тебя благоприятно.

Ах, какая у нее была складочка у горла и перламутровый отблеск на зубах, как захлебывался шепоток: „Ну, ты и лихач! Я прийти в себя не могу: у меня как в самолете уши заклало...“ – „Заложило...“ – „Пусть заложило, – шелестело в ухе, – А тебе, промежду прочим, надо вешать предупреждающий знак: прочие опасности...“ И я поуркивал, интонируя размягченные модули, то поднимая по-арлекиньи брови, то кривил угол рта в якобой усмешке: вот ведь как может быть счастливенько порой, если... И я уносился по гипнотическим водам на лаковой гондоле, щеки мои оведал теплый бриз, и руль мой вяз в раскрытых кувшинках, и тянулись за мной нылые водоросли, и распахивалась передо мной рясная кольчужка, и... И я просыпался. Прямо в упор – утренний душок моей душеньки и трогательные узы властных пальчиков на гутаперчивом стебле. Так кротко и нежно, но по-хозяйски цепко – не вырвешься...

* * *



Томный агент из бюро знакомств печально вздохнул и констатировал:

– Наблюдается сокрушение духа. – Он поиграл телефонным проводом, перебирая витки как четки. – Что с лица спал – полбеды, а вот взгляд потух – вовсе нехорошо. Нельзя любовь принимать близко к сердцу, так ведь нас надолго не хватит. К любой неудаче надо подходить философски и по-возможности извлекать из нее пользу. Опять не повезло? Я понимаю, тяжелый случай... Но дело-то поправимое: вон их сколько у меня, – агент хлопнул ладонью по компьютеру, – скоро памяти не будет хватать. Да погляди на себя в зеркало: интеллигент, молодец-конь не носит, скромняга... Кого желаете? Тендитную или с приданым, хохотушку или тихоню, хозяйственную или начитанную – у меня их тысячи и все они алкают мужа, орошают подушки слезьми... Ты мне веришь, они стоят в очереди за тобой, а ты мне тут разметанность судьбы изображаешь. Немедленно приосанься и приготовься к большим начинаниям!

Он подпер свой муссолиниевский подбородок кулаком и на продолжительное время уставился в экран компьютера, палец его лениво отщелкивал по клавише. Внезапно его взгляд съехал на клиента и лицо его осветил приход идеи:

– А вот неплохая мысль... Кстати, как у вас с языком, без проблем? Так есть у меня одна бабуля, простите за непрофессионализм, из местных, я вам доложу, объект достойный внимания, хороших кровей и с родословной, шестое поколение в стране. Центр города, под боком парк с лебедями, свой пентхауз, вид, как здесь произносят, умопомрачительный. Но, правда, в годочках; да, друг мой многострадательный, в этом мире за все надо платить: вы мужчина на пике жизни, а она вот-вот перевалит, время поджимает, к тому же очень-преочень. Я думаю на обмен верительными грамотами не стоит тратить время. Прямо отсюда и поезжайте, она всегда дома. Снизу по интеркому позвоните и сразу предъявите себя бэмезуман. Ну и ладушки... Ну и чудненько...

В коридорчике, служившем агенту залом ожидания, нога на ногу и сигарета в пальцах сидела ковбойского вида дева. Она коротко взглянула на Аккуратова и, сделав несколько энергичных затяжек, примяла окурочек.

Аккуратов посмотрел на свое многократное отражение, бесцеремонно размноженное пластиковым витражом, и вдруг увидел в нем своего родителя в пожилом возрасте, да с таким подобием в чертах и абрисе, что диву дался. А ведь всегда считалось в семье, что он ни на кого не похож, изредка замечали некое сходство с родственниками, но никак не с близкими. Такой же пентюх несуразный, мрачный и закомплексованный...

– Минуточку!.. – обратился он к деве, которая к тому времени подобралась вполне, рассмотрев себя достаточно в отражениях, и намеревалась войти к специалисту по сердечным проблемам. – Вы к нему не ходите! Он вас заморочит своими пасьянсами, забьет памороки, заобаяет... Я предлагаю вам руку и сердце, любить вас в радости и горе... э-э-э... до гробовой доски...

Брутальная дева стрекнула колючим глазом и поставленным баском выдавила из себя тяжелый клеточек базарной выти:

– Проходи прохожий! Непечатно выскажусь – враз давление подскочит! Хоссссподи, каких только уродов мать-шахна не выплескивает?.. Чччерт нерусский!

Хорошо сидеть на паутинной скамеечке в тени развесистой араукарии. Славно ощущать себя непринужденным и непри-

гнобленным обстоятельством. Ах, как чудно внимать кинетике воздуха и статике камня, наблюдать марокканских и йеменских красоток, видеть в мутном прищуре достойного вида особняк с ухоженным порталом и знать, что никогда к нему не приблизишься и не приведешь в действие хрипчатый интерком...

* * *

Жизнь – это сплошная цепь чередующихся блаженств и покоя, лишь успевай замечать благоуханный цветок и наклоняться к нему. Научись радоваться всему: короткой очереди к кассе, кстати подошедшему автобусу, месту у окошка, мягким шлепанцам, казалось бы навсегда утерянной, но неожиданно найденной записной книжке, неполоманному электроприбору, непересоленной котлете, неперегоревшей страсти, непорванной связи, непечатному слову, необычному обстоятельству, необлагаемой налогом собственности, неотчуждаемой территории, переходному глаголу, нераспечатанному письму... Что ты расстраиваешься по пустякам, без конца тревожишь себя впечатлениями и воспоминаниями? Что ты свою жизнь в любопытстве проводишь? Зачем всем кликухи присваиваешь, синекдохами награждаешь? Живи тихо и, по возможности, ненавязчиво, услаждай себя малыми радостями: понравилось – зайди и купи, и съешь, и не томись ценой. Видишь скверик – он для тебя: выбери скамейку, сядь и расположи свое лицо так, чтобы не видеть загаженный газон, мерзопакостное нагромождение ржавого металла и бетона, именуемое монументом, исчерченную корявыми надписями стену дома. Вспомни что-нибудь героическое и торжественное, как плюсквамперфектум.

Помнишь, это было так давно. Тогда еще весь мир был гармоничным и благоустроенным как облигация внутреннего займа, когда все зеркала были лицеприятные, а чернила симпатические. Это было в странную эпоху неделовых игр, непрофессиональных псевдонимов и неоскорбительных считалок. Это было в пору детства.

На второй этаж вела гулкая лестница, по которой все отчаянно топали, стояла водонапорная башня, на которую без рук взбегал

великолепный Колесан; был бетонный дот, в который лазали только записные смельчаки; еще была строгая воспитательница с отваливающейся челюстью и сверхпедагогическим набором свистяще-шипящих; была дохлая крыса, а потом просто место, где валялась дохлая крыса; был паровозик и два вагончика – почти единственная и вожделенная игрушка, кто ею завладевал с утра – счастливчик.

Была она... Звали ее... Если я сейчас произнесу ее имя, с теми же ласкательными суффиксами, с тем же шепотком и придыханием – опять пахнет на меня пряный аромат ее родинок в изгибах прозрачного тельца, оглушит меня большой вишни цвет ее губ, слабо-слабый контакт ее фарфоровых пальчиков с моими губами.

У нее на руке было темное круглое пятно, и кто-то шепнул, что это лишай: если прикоснуться – выпадут волосы, а сам Аккуратов подслушал (говорила кухарка), что ее мать во время беременности украла сливу... Никакой это был не лишай, это была явная отметина тайной страсти, знак особого расположения звезд и неразгаданных волеизъявлений.

У ее матери было такое же пятно, такой же формы мягкий рот, такие же лучики у глаз. Странные чувства испытывал Аккуратов, когда видел и дочь и мать вместе, будто где-то за кулисами, за зеленым задником сада присутствует еще кто-то, невероятно похожий на него, Аккуратова.

Это было на Сырце и сердечко твое упорхнуло бабочкой: ты влюбился и все твое существо и существование было переполнено ею: прозрачной девочкой в пелеринке. Вот они в аллее, на паутинной скамеечке: одно существо в двух поколениях сразу. Вот девочка в ореоле лаковых космочек, прогнувшись в стане, в фартучке с матерчатым кармашком через плечо (такая уж была мода), в ладошках скачет волосатый мячик, ножка во второй позиции и светлый лучик у губ – дочь улыбки, на щечках ямочки милovidности, хитринки ресничек... Я не скажу, как ее звали. У ее матери было то же имя.

Нас всех водили строем и парами. Аккуратов всегда старался занять место за ней или сбоку, чтобы постоянно иметь ее перед глазами, и, где бы он ни находился – в толпе детей на песчаннике,

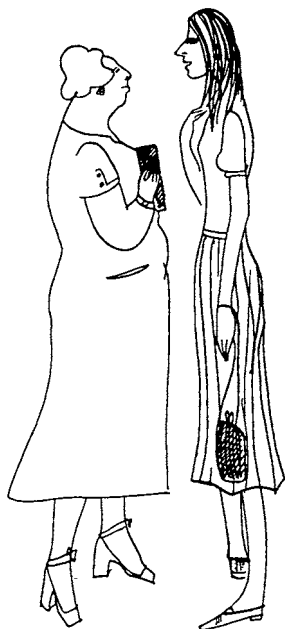
у гигантской муравьиной кучи, в лоскутном мирке кукольного домика, – всюду он отмечал свое местоположение по отношению к ней, воздушной девочке без отчества. И в самый неожиданный момент игры, как бы ни был увлечен, мог остановиться и сличить координаты, тотчас выхватить взглядом идеально-ностальгическую точку одной из излюбленных ею поз, тотчас узнать ее в пестрой сутолоке дівчоночьих непонятностей, запечатлеть мгновенное притворство приоткрытого ротика... Из всех ее поз, манер и жестов ни одна не была неочаровательной. Ах, как она ему нравилась! Всякая и всегда. Он потаенно наблюдал за нею и скаречно ловил и запечатлевал в себе каждый поворот ее головы, случайный вскрик, неловкий шаг. Он нарочно отходил подальше, чтобы со стороны и как бы вчуже вдруг разглядеть ее прозрачную, растрепанную, неловкую, и ему казалось, что ничего нет в мире прелестнее ее. Он даже себе боялся признаться в любви, дабы не спугнуть ее, и молчал, и думал о другом. А где-то за ресницами была она – слабый, недозэкспонированный образ, чуть вырисовывающийся в муаровом мареве пружинистый раскрут легких волос, а то и просто дождинка на запястье. Но наркотический позыв властно настигал его, призывал взглянуть, и Аккуратов слал взгляд, увечный импульс, и только потом, по темному фону памяти восстанавливались запечатленные детали: красные десночки, заведенный под край шляпки мизинчик, божья коровка на локотке... И так до следующего раза, взгляда по секрету, между прочим и прочими.

Ах, как она ему нравилась! Но он не знал, что ему делать с собой, а делать что-то надо было, и он пока довольствовался тайными подсмотрями, перехватить застенчивую усмешку, адресованную не ему.

Именно поэтому они никогда ни о чем не говорили, пожалуй, и словом не перекинулись, как мне помнится, ни разу и за ручку не держались, не обозначались взаимным узнаванием по имени-фамилии, по табельной, гардеробно-семантической индексации: он – огурчик, она – помидорчик. Не было этого.

И когда Аккуратов вывихнул руку и тем самым заметно поправил свое общественное положение, благодаря монументальному гипсу и лихой перевязи через шею, даже высокородная

прима в сопровождении поклонников и фаворитов нанесла ему визит в изолятор, милостиво сострадавая. А его любимая, его каждодневное ожидание, трепет ноздрей и подколенная слабость, пустота в животике, она, его томноглазая девочка даже и не любопытствовала о нем. Она укладывает спать притворно жмурящуюся куклу, поет пластмассовой дочурке колыбельную, накрывает ее пестрым одеяльцем, но нет в ее сердце израненного мальчишки в серой бобочке, в коротких штанишках со шлейками.



Вот что проделывал Аккуратов почти каждую ночь.

Он засыпал сразу. Сквозь ватную пелену еще доносились визги записных клоунов, еще слышался сверчащий шепот в близнячем углу, и строгая нянька, прошипев в последний раз, гасила свет и уходила к себе, оставив запах чего-то кислого... Он еще спал, а внутри зрела решимость. Он приподнимался и вслушивался... Потом... Потом прокрадывался в девчачью спальню, шмыгал в проход до конца и налево, в угол, где спала его возлюбленная... Склонялся над ней, пытаясь в спальном мраке разглядеть в упор родное личико, вдыхал сонный душок своей

душеньки, сухими губами едва касался чуть приоткрытого ротика, пухлой ложбинки над губой, приникал щечкой к щечке, крохотно скользил по глазкам, к височку, к мочке уха... Потом... Потом опускался на колени и осторожно просовывал руки и голову под одеяло, трогал, гладил ее всю, обнимал, шептал хорошие слова, задыхаясь в постельной теплыне... Он целовал ее бархатное тельце, елозил лицом по грудке и животу...

Потом происходило вот что. В ней что-то просыпалось, что-то перекатывалось из стороны в сторону и по кругу, от пяток вверх и вниз пробегала волна, животная дрожь, все ее ленивое тельце ходило ходуном, вздымалось и опадало, а пальчики бисерным перебором перебегали по ребрышкам, по бедрышкам... Это не было пробуждением, девочка крепко спала. А вот та часть ее, что со временем должна превратиться из куколки в бабочку, слепой эмбрион женственности, росток целомудренного вожделения – восставала из неразвитой плоти и отчаянно зывала к любви, молила о помощи. А все прочее, вместе с каторжной детскостью и отрешенностью от мира взрослых, пребывало в наркотическом плену – спало. Потом... Потом ее влажные ладошки с кукольными пальчиками ласково ощупывали голову Аккуратова и нетерпеливо подталкивали ее все ниже, все ближе к разлукавому холмику на перепутьи ног... Она прилаживала его голову к ноющей складочке и он припадал к ней и жадно пил... Он захлебывался, он задышался, он терял сознание... Она же вонзалась в него, ее пальцы впивались в волосы, больно щипали уши, втискивали, вдавливали его в пылающее явными сокровениями портативное устьеце...

Внезапно она выгибалась, делала „мостик“, на короткий миг замирала, еле слышно взвизгивала „мамочка“ и падала вниз, стуча ножками в прикроватную спинку... Потом... Потом медленно, слабо постанывая, она как мяч выкатывала его мокрую голову из-под одеяла к краю постели и выпихивала прочь...

Аккуратов в восторженном ужасе убегал к себе, зарывал свою голову в простынный хлам, щипал щеки, крутил уши, впивался лицом в скрипучую сетку, пытаясь унять сумасшедшую дрожь и головокружение, икал, гулькал горлом, силился не разрыдаться, не взвыть от необъяснимой обиды и тоски, от первородной

печали возбужденного тела, изнуренного рано посетившей его любовью. Так он постепенно успокаивался, прижавшись к холодным прутьям кровати, слизывал запотелости с никелированных полудужий, тяжело вздыхал, всхлипывал, тупо глядя в темный проем девичьей спальни, где лежала, спала, не просыпалась его вождеденная девочка, его царственная невеста...

Бедные дети! Бедный шевалье Аккуратов!

Это была жалкая и великая любовь и тайна никем не раскрытая и не познанная. Предмет его ежедневных ожиданий и еженощных мук, его недоступная дневная птичка сама шла ему в руки лишь ночью, и он довольствовался странной участью неузнанного любовника, партнера и соглядатая...

Он не выдал себя и в последний день, когда, поволив шикарней хоровод, всех торжественно развели по сторонам с добрыми напутствиями расти и мудреть. На улице шел дождь, а в вестибюле было тесно, душно, велся светский перебряк, поскрипывали портупеи, цветом побежалости разливалась бижутерия, от запаха духов щипало глаза... Бабушка застегнула боты, завязала башлычок и уже тужилась раскрыть свой посеченный зонт, как Аккуратов бросил взгляд, последний, отчаянный, промеж рук заботливых и теплых, подтыкающих шарфик у горла... Она, светлячок мой нежный, трогала пальчиком струны гуселек еропчаемых... ее мама раскланивалась с Софьей Аполлоновной и Герой Романовной, они въезжали своими добрыми лицами со всех сторон, беззвучно шевелили губами, улыбались, заслоняя ее от Аккуратова... И Аккуратов скорее почувствовал, нежели увидел, как она, его птичка, метнулась к нему сквозь раздушенную толпу, запрокинув голову и разметав руки, подбежала с бледным и печальным личиком, обняла, макнула слезкой, царапнула ноготками и тут же бросилась прочь...

Вот и все.

Прощай, девочка!..

Если ты мне когда-нибудь встретишься, я тебя узнаю по медовому запаху, по родинкам, по пятнышку, по складочкам, по пальчикам...

Ты только встреться...

Геннадий Седов

ВОЗЬМИ И ДАЙ!
(комедия в двух действиях)

Действующие лица:

Арон, 50 лет

Меир, 45 лет

Илана, 19 лет

Игаль, 25 лет

Шимон, он же Буфетчик, 30 лет

Гиви, он же Меняла, 35 лет

Ученики ульпана нищих, официанты ресторана, посетители кафе, агент по рекламе, полицейский, прохожие

События происходят в наши дни, в Тель-Авиве.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Небольшая уютная площадь в районе набережной Тель-Авива. Садовые скамейки, фонтан-бассейн посередине, зеленые газоны по краям. В правой части дальней стены – столики летнего кафе под разноцветными зонтиками, левее кафе – каменная балюстрада, оканчивающаяся ступенями, которые ведут на пляж. За балюстрадой – ослепительная синь Средиземного моря, мачты спортивных яхт, башня маяка на выступе скалы. Большую часть левой стены занимает торец высотной «пятизвездной» гостини-

цы с частью тротуара, пропадающего за кулисой. Летнее ясное утро, шум невидимых машин со стороны невидимой улицы. В момент открытия занавеса Арон устраивается на одной из скамеек: достает из наплечного мешка складную черную шляпу-цилиндр, разворачивает ее как гармошку, кладет на край скамейки, сыплет в шляпу одну за другой несколько монеток, отходит чуточку назад, придирчиво оглядывает шляпу, не успокаивается на этом – делает пяток шагов в сторону отеля, резко поворачивается, идет фланирующей походкой праздного гуляки в сторону скамейки, останавливается возле шляпы, глядит на нее скептически, точно видит впервые, кривит недовольно губы. Жестом составителя икэбаны, мягко и артистично, надавливает ладонью на край шляпы, уменьшая тем самым высоту тульи, снова критическим взглядом изучает свое творение. Кажется, на этот раз он доволен – садится на край газона, так чтобы можно было дотянуться рукой до шляпы, поудобнее вытягивает ноги, вынимает из бокового кармана записную книжку, что-то вычитывает в ней, шевеля губами.

Арон (сильным голосом в пространство – воображаемому себе-седнику). Доброе утро, господин Шапиро! (Торопясь, достает из мешка бутылочку с водой, делает глоток, полощет горло, откашливается. Продолжает.) Как здоровье твоей многоуважаемой супруги? Врачи уже разрешили ей вставать с постели? Очень, очень рад за тебя, господин Шапиро! (Прокашливается, снова заглядывает в записную книжку. Меня интонацию, игриво.) Мадам Циперович, мое почтение! Ты сегодня прекрасно выглядишь. Надеюсь, мой рецепт помог твоей собачке избавиться от глистов? Целую ручку, мадам Циперович!.. (Водит пальцем по странице записной книжки, находит искомое. Очередной монолог в пространство.) С возвращением из отпуска, глубокоуважаемый господин Хури! Как Италия? Видел Везувий? Чиччолину? Как у них там с сицилийской мафией? Понятно: никаких перемен...

За спиной Арона с грохотом опускается решетчатая ставня павильончика-кафе, открывается прилавок, распахивается боковая дверка, из которой выходит, широко зевая, Буфетчик с полотенцем в руке.

Буфетчик. Привет, Арон!

Арон (*оторвался от записной книжки*). А-а, привет! Чего так поздно?

Буфетчик (*ухмыляется*). Проспал. (*Протирает полотенцем столик.*)

Арон. Ясно. С Иланой?

Буфетчик зажмуривает глаза от сладостных воспоминаний, крутит в восторге головой.

Арон. А алиби дома как обеспечил? Жене что соврал?

Буфетчик (*застенчиво улыбается*). Сказал, еду в Хеврон. За свежими овощами.

Арон (*язвительно*). „В Хеврон“... Фантазии у тебя – ни на грош, соврать по-человечески не можешь. Ты же в прошлый четверг „ездил в Хеврон“, забыл? Неужели нельзя придумать что-нибудь посвежее, чем поездка за свежими овощами? Почему – не за фруктами? За специями? И почему обязательно – в Хеврон? В этот самый Хеврон ты ездешь, по-моему, каждую неделю на протяжении последнего года. А приличного гарнира из овощей в твоей забегаловке как не было, так и нет. Не понимаю, как жена еще на застукала тебя на таком примитивном трепе.

Буфетчик, не зная, что возразить, с удвоенной энергией трет мраморную столешницу. На тротуаре, вынырнув из-за угла гостиницы, показывается респектабельный Меир с «дипломатом» в руке, лучезарно улыбающийся в сторону Арона. Поравнявшись со скамейкой, он останавливается, приподнимает шляпу.

Меир (*с легкой одышкой*). Здравствуй, дорогой! Как ты? Все в порядке?.. Видишь, я без машины... пешком. Очаровательно, ты знаешь! Столько впечатлений! Ты был абсолютно прав... Я в восторге!..

Арон. По-моему, ты опаздываешь. В банке будет паника: господин директор впервые в жизни пришел не вовремя.

Меир (*смотрит на часы*). У меня еще семь минут, успею. (*Кричит в сторону кафе.*) Доброе утро, Шимон!

Буфетчик машет ему рукой из-за прилавка.

Арон. Он сегодня тоже опоздал. Но у него – уважительная причина.

Меир (*расплывается в улыбке*). „Ездил в Хеврон“?

Арон. Ага. И опять вернулся без свежих овощей!

Меир. Ах, сукин кот!

Оба хохочут. Меир открывает «дипломат», достает кошелек, тянет из него банкноту, опускает в шляпу Арона.

Арон (*строго*). Меир!

Меир (*машинально*). Да.

Арон. Ты – опять? Мы же договорились!..

Меир. Ах, извини, дорогой! Склероз проклятый!..

Торопливо лезет в шляпу, выуживает банкноту, прячет в кошелек, достает горсть серебра, смотрит вопросительно на Арона.

Арон (*тоном приказа*). Шекель!

Меир (*робко пробует возразить*). Позволь хотя бы пятерку!

Арон (*безжалостно*). Шекель, Меир, шекель! И поторопись, пожалуйста, на службу!

Меир покорно опускает в шляпу шекелевую монету, прячет кошелек в «дипломат», щелкает замком. Видит неожиданно поднимающуюся по ступеням лестницы ослепительную Илану в купальнике-«бикини».

Меир (*приподнимает шляпу, кричит радостно*). Иланочка, доброе утро! Я прошел два километра пешком! Замечательное ощущение!

Присевшая на столбик балюстрады Илана одаривает Арона и Меира лучезарной улыбкой.

Илана (*кричит*). Привет, мальчики! Я сегодня работаю на пляже! Водичка – класс! (*Покачивая бедрами, направляется к буфету, останавливается у прилавка, разглядывает содержимое*

витрины. Перегнувшись через прилавок и продемонстрировав форму своих ягодич, достает из-под стеклянной створки увесистый бутерброд, тут же жадно его надкусывает. Громко сообщает Арону и Меиру.) Проголодалась – жутко! (Садится за столик, с аппетитом ест. Кинувшийся стремглав в павильончик Шимон выносит ей бутылочку «колы», услужливо наливает в стаканчик, возвращается за прилавок, хлопчет там по-хозяйски.)

Меир (Арону). Ну, я пошел. Встречаемся, как обычно?

Арон. Да, в шабат. В семь.

Меир. До встречи, дорогой! Не сиди долго на солнце. (Кричит в сторону павильончика.) Иланочка, Шимон, до встречи в субботу!

Илана за столиком с набитым ртом и Шимон за прилавком машут ему руками. Тронувшийся в путь Меир сталкивается у фонтана с появившимся с противоположной стороны площади небритым и неряшливым Менялой.

Меняла (он возбужден). Привет, Меир! Слышал, что творится с лирой?

Меир (невозмутимо). Ничего не творится. С валютой вообще никогда и ничего не творится. Это с людьми все время что-нибудь творится... Извини, я сегодня без машины – опаздываю. (Уходит.)

Меняла (подходит к Арону, лезет в карман, достает монетку, бросает в шляпу на скамейке. Вполголоса.) Хочешь чего-нибудь поменять? Доллары? Фунты? Лiry? Марки?

Арон. Пока – нет.

Меняла. Ну, смотри... (Устремляется к столику Иланы, усаживается рядом, пожирает ее глазами. Сладострастно причмокивая губами.) Ты как персик сегодня, Илана! Хочешь, вечером покушаем вместе шашлык в Яффо?

Илана (встает, закончив трапезу. Потягиваясь.) Не знаю. У меня сегодня наплыв клиентов. (Кричит.) Арон, как с субботой? Ничего не меняется?

Арон издали показывает жестом: все, как договорились, не беспокойся. Походкой манекеницы, демонстрирующей новые модели купальников, Илана направляется в сторону пляжа. Ее нагоняет, прибавив разом шаг, пересекающая площадь парочка веселых, «на взводе», американских моряков в выходной форме,

один из них – негр. Подхватив хохочущую Илану под руки, они сбегают вниз по лестнице. Проводив компанию жадным взглядом, бредет на свое место Меняла, садится на край бассейна, нервно закуривает. С правой стороны площади показывается с собачкой на поводке тучная мадам Циперович. Завидев ее, Меняла тут же вскакивает, пересекает ей дорогу. Узнав его, мадам Циперович в страхе отшатывается.

Мадам Циперович (*густым контральто*). Нет, нет! Пожалуйста! На этот раз мне ничего не надо! Ради Бога!.. (*Устремляется в крайнем возбуждении в сторону сидящего Арона.*)

Арон. Мое почтение, мадам Циперович! Надеюсь...

Мадам Циперович (*перебивает его. Нервно*). Ах, здравствуй, Арон! (*Не может успокоиться.*) Этот страшный, волосатый человек! Он мне буквально закрутил голову! Я накупила, Бог знает зачем, этих самых... фунтов. Английских, австралийских! Они все время падают в цене! Кошмар какой-то!.. (*Спохватывается.*) Ах, да, огромное тебе спасибо за рецепт! Мой дорогой Соломончик просто ожил! Чудесное средство! Чудесное!.. (*Извлекает монету из кошелька, бросает в шляпу на скамейке, тянет за поводок собачку.*) Идем, Соломончик! (*Громко и возмущенно бормочет.*) И откуда он взялся на мою голову, этот бандит с его фунтами! (*Уходит по тротуару в сторону отеля.*)

Арон (*кричит ей вслед*). Целую ручку, мадам Циперович!

Столкнувшись на тротуаре с мадам Циперович и обойдя ее сбоку, идет через площадь, игнорируя шляпу Арона и его самого, чем-то озабоченный Шапиро.

Арон (*вдогонку ему, торопливо*). Доброе утро, господин Шапиро! Как здоровье твоей многоуважаемой супруги?

Шапиро (*остановившись в замешательстве*). Ей хуже, она в реанимации... Извини!.. (*Быстро идет мимо фонтана.*)

Меняла (*поравнявшемуся с ним Шапиро*). Доллары, фунты, марки, лиры!..

Шапиро, не слыша его, исчезает за углом кафе. Арон достает из кармана записную книжку, быстро листает ее, находит нужную страницу, делает карандашом какую-то пометку. Видит поднимающегося по ступенькам со стороны пляжа мрачного господина Хури, быстро прячет блокнот.

Арон (*патетически*). С возвращением на родную землю, господин Хури! Вижу, что поездка в Италию была успешной!

Хури (*с желчью*). Чтоб им провалиться, этим макаронникам! Нас обворовали в гостинице – утащили драгоценности жены! (*Бросает раздраженно монету в шляпу Арона.*) Чертова страна – никакого порядка! Проститутток больше, чем автомобилей... нищие на каждом шагу. Мы вернулись домой раньше срока... купаться можно прекрасно и в Тель-Авиве! (*Идет мимо фонтана.*)

Арон (*вслед ему*). Будь здоров, господин Хури! (*Быстро делает пометку в блокноте.*)

Меняла (*проходящему мимо Хури*). Доллары, фунты, марки, лиры!..

Хури (*злбно*). Шел бы ты подальше со своими лирами! (*Пересекает наискосок площадь, пропадает из вида.*)

На площади появляется Игаль, несущий под мышкой средних размеров масляную картину в простой деревянной раме. Останавливается в нерешительности, прикидывая, где бы пристроить получше картину, ставит ее на одну из скамеек. Подходит к Арону.

Игаль. Не знаешь, кому тут можно по дешевке сплавить картинку? Отдам за двадцать долларов.

Арон. Покажи поближе.

Игаль несет ему картину, ставит напротив, на землю, придерживает рукой за край. Арон некоторое время придирчиво разглядывает полотно.

Игаль (*заносчиво*). Не нравится?

Арон. Нет, почему же: нормальная работа. Все на месте: цвет, свет, колорит, рисунок. Будет неплохо смотреться на стене гостиной. Для кухни, пожалуй, не подойдет: размер большеват.

Игаль (*раздраженно*). Еще один ценитель! Ты можешь сказать: есть у тебя на примете покупатель или нет? Хочешь заработать комиссионные?

Арон. Покупатель есть.

Игаль (*в нетерпении*). Ну!

Арон. Но его не интересует ширпотреб.

Игаль (*нервно*). Мудак! (*Хватает картину, несет ее на прежнее место, стоит рядом, кипя от негодования.*) Попрошайка сраный!

Арон (*в сторону Игалю, как будто ничего не произошло*). Для хорошего художника ты, по-моему, чересчур деловой. Немного наивности тебе бы не повредило. Покупатели картин это любят.

Игаль. Заткнись со своими советами! Шут гороховый!

По ступеням лестницы со стороны пляжа шумно поднимаются американские моряки – белый и черный – в обнимку с подвыпившей Иланой.

Илана (*вступив на площадь, машет рукой Арону, кричит радостно*). Арон, это парни с авианосца „Саратога“! (*Энергично тащит моряков к скамейке, подталкивает их к сидящему на газоне Арону.*) Джонни, Вашингтон, знакомьтесь! Это – Арон, самый знаменитый нищий в Тель-Авиве! (*Хохочет.*)

Моряки по очереди жмут руку Арона.

Илана (*Арону*). Мы плывем позавтракать... в „Хилтон“. (*Морякам.*) Ребята, кладите в шляпу по десятке и – в путь!

Моряки, натянуто улыбаясь, лезут в бумажники, достают по банкноте, бросают в шляпу. Арон сопровождает акт милосердия сольным исполнением американского национального гимна с одновременным вставанием с газона и выразительным дирижированием поднятыми над головой руками. Все довольны.

Арон (*Илане, показывая на мрачно стоящего поодаль Игалю*). Видишь того придурка? Гениальный художник! И – полный лопух к тому же: отличную работу продает всего за сто долларов! Будь у меня деньги, я бы, не задумаваясь, купил...

Илана (*мгновенно загоревшись, морякам*). Джонни, Вашингтон! Сделайте мне маленький подарок, хорошо? (*Тащит американцев к недоуменно глядящему на них Игалю, хватает со скамейки картину, жадно ее разглядывает, страстно прижимает к груди, стонет от восторга – не то подлинного, не то мнимого.* Морякам.) Купите, мальчики, не жмитесь! Я повешу ее у себя в

спальне... над кроватью. Скиньтесь по полсотне – и дело с концом! (*Видя легкое замешательство у моряков.*) Ну же!

Моряки обмениваются между собой постными улыбками, лезут в бумажники, достают по банкноте, вручают ошарашенному неожиданным натиском покупателей Игалю.

Илана (*с картиной под мышкой, командует радостно-пьяно*).
Курс – на „Хилтон“! Полный – вперед!

*Компания шумно удаляется в сторону отеля.
К Игалю, растерянно сжимающему в кулаке доллары,
подходит Меняла.*

Меняла. Хочешь поменять доллары на шекели?

Игаль (*он понемногу приходит в себя*). Какой сегодня курс?

Меняла. Три шекеля половина агоры за доллар. Можешь посмотреть в газетах.

Игаль (*все еще колеблясь*). Давай на пятьдесят долларов.

Меняла быстро производит подсчет на карманном калькуляторе, показывает Игалю, какой получился результат. Тот, посмотрев, протягивает Меняле банкноту, получает от того шекели и мелочь, направляется к буфету.

Игаль (*сидясь за столик, повелительно Шимону, выжидательно застывшему за прилавком при появлении клиента*). Бифштекс с кровью, чипсы, банку пива! Только – не „Голд Стар“! Есть немецкое? Или – датское?

Буфетчик. Да. „Туборг“, „Хейникен“, „Карлсберг“...

Игаль. Давай „Карлсберг“. Только – ледяной.

*Пробегает мимо буфета озабоченный Шапиро,
останавливается у прилавка.*

Шапиро (*задыхаясь от быстрой ходьбы, Шимону*). Бутылочку минеральной...

Буфетчик. Минуточку!

*Хлопочет возле столика Игаль, откупоривает
бутылку с пивом, наливает в стакан.*

Буфетчик (*Игалю*). Маслины положить в гарнир?

Игаль. Если не очень соленые.

Шимон несется за прилавок, протягивает бутылку минеральной Шапиро, поджаривает бифштекс, накладывает на тарелку овощи, чипсы. Сидящий на краешке газона Арон глядит на часы, встает, извлекает из шляпы выручку, рассовывает бумажки и мелочь по карманам, поднимает с газона вещевой мешок, глядит какое-то время в сторону закусывающего Игалю. Из-за буфетного прилавка вылетает Шимон с блюдом в руке, ставит тарелку перед Игалем, демонстративно протирает на глазах у клиента полотенцем нож и вилку. Игаль бесцеремонно выхватывает у него из рук приборы, принимается жадно есть. Обогнув фонтан, к столику Игалю подходит Арон, останавливается в полуметре, протягивает шляпу.

Арон. Приятного аппетита, господин Ван-Гог!

Игаль (*прожевывая бифштекс, презрительно*). А, это ты?

Лезет в карман, достает кошелек, извлекает шекеlevую монетку, бросает в шляпу, продолжает жадно есть. Арон выуживает из шляпы монетку, подчеркнuto внимательно разглядывает ее, подбрасывает в воздух, ловит налету.

Арон (*весело*). Шекель комиссионных за сто долларовую сделку! Да возблагодарит тебя за щедрость Господь, сын мой! (*Комично кланяется Игалю.*)

Игаль (*жуя бифштекс*). Чучело огородное!

Арон, водрузив на голову шляпу и закинув за спину вещевой мешок, идет через площадь и пропадает из виду.

Картина вторая

Ночлежка Арона, свидетельствующая о дьявольской изобретательности хозяина, превратившего чердак старого дома в живописное и по-своему уютное жилье. Деревянная витая лесенка в правой дальней части сцены ведет на антресоли под крышей, где каким-то чудом разместилась, как ласточкино гнездо, спальня с

фанерными боковыми стенками и широко раздвинутой занавеской из ярко-красного драпри вместо двери, за которой видна аккуратно застеленная кровать-софа. Другая занавесочка – из ярко-желтого драпри – служит дверцей фанерного туалета-душевой в левой части помещения. Центральную часть дальней стены занимает изгрушечная кухонька с газовой плитой, холодильником, столом, навесными полками с посудой, банками и коробками. Навесные полки – и на правой стене, на них тесными рядами корешки старинных книг, на самой верхней – знакомая шляпакотелок Арона. В правой части сцены, ближе к рампе, зияет в полу квадратный люк с выступающими над ним перилами. В центре ночлежки – полукругом мебельный гостиний гарнитур, составленный из разностильных кресел, диванчика и круглого стола, найденных скорее всего на мусорной свалке. Низко над столом висит укрепленный на шнуре, свисающем с потолка, живописный морской фонарь из красной меди с четырьмя разноцветными стеклянными стенками. В правом углу, под книжными полками, – большой деревянный сундук, обитый железом. Ранний вечер. Через единственное наружное окно мансарды сочится закатный оранжевый свет. Подпоясанный передником Арон, мурлыча себе под нос какую-то мелодию, колдует на кухоньке над плитой: поднимает крышку котелка, снимает разливной ложкой пробу, размышляет секунду-другую, добавляет в блюдо что-то из специй, закрывает крышку. Скрип деревянных ступеней внизу. Из люка появляется шляпа Меира, а за ней и сам он, шумно отдувающийся, с полиэтиленовым пакетом в руке, в элегантном светлом костюме и в галстук.

Меир (выбравшись наверх и нюхая воздух). Что-то совершенно необыкновенное! Божественный аромат!.. (Несет пакет на кухню.) Шабат шалом, дорогой!

Арон (не отрываясь от плиты). Шабат шалом! По тебе можно проверять часы. Кардамон принес?

Меир. Да, конечно... (Лезет рукой в пакет.)

Арон. А мускатный орех?

Меир. Все, что ты сказал: и мускатный орех, и паприку, и базилик... (Торопливо копается в пакете.)

Арон. Оставь, я сам. Разденься пока.

Меир. Ты прав: я совершенно мокрый... *(Тащит с себя пиджак, снимает шляпу.)*

Арон. ...И займись столом, хорошо? Бокалы и тарелки – на месте, свежая скатерть ты знаешь где...

Меир. Да, да, разумеется... *(Идет под лестницу, ведущую на антресоли, вешает на один гвоздь пиджак, на другой – шляпу, громко бормочет, чувственно водя носом.)* Боже, какой аромат! С ума сойти! *(Направляется к сундуку, поднимает крышку, тянет изнутри сложенную скатерть, несет ее к столу, расстилает. Снует от стола на кухню и обратно, тащит тарелки, бокалы, приборы, тщательно и любовно сервирует стол.)*

В отверстии люка появляется принарядившийся Шимон в кипе, с картонной коробкой в руках.

Шимон. Шабат шалом! *(Меиру.)* Кажется, я снова опоздал... *(Вытаскивает из коробки одну за другой бутылки с вином, ставит на стол.)*

Меир *(смотрит на часы).* На двенадцать с половиной минут. Вот почему из тебя никогда не получится настоящий бизнесмен: ты абсолютно не представляешь себе, что значит быть точным.

Арон *(мешая что-то в котелке).* Эй, Шимон! Сколько можно ждать!

Шимон *(спохватившись).* Иду! *(Хватает со стола одну из бутылок, бежит на кухню.)*

Арон *(придирчиво разглядывает бутылку в руках Шимона. Строго).* „Мадера“?

Шимон. „Мадера“, „Мадера“ – та самая, что ты сказал... *(Торопясь, отворачивает пробку, держит наготове бутылку.)*

Арон *(протягивая ему черпак).* Лей! Только понемногу...

*Шимон осторожно льет в черпак вино,
Арон внимательно следит.*

Арон. Все, хватит! Можешь идти! *(Аккуратно сливает вино в котелок, мешая ложкой, пробует на вкус, снова льет.)*

Меир *(нюхая воздух).* Нет, я, кажется, не выдержу!

*Из люка вылезает затрапезный, неряшливый
Меняла в кипе, с пакетом фруктов в руках,
здоровается, тащит фрукты на кухню.*

Арон (не оборачиваясь, Меняле). В холодильник!

*Меняла выполняет приказание. Из люка показывается
модно причесанная, покрашенная и нарумяненная
Илана с огромным букетом. Она в полупрозрачном эффектном
мини-сарафанчике, сшитом в дорогом ателье. Мужчины
встречают ее возгласами восторга. Польщенная вниманием
Илана, задрав юбку, демонстрирует, как
на показе новых моделей, практически отсутствующие
трусики с кружевными оборками.*

Илана. Ну, как? Правда, блеск?

Мужчины дружно аплодируют.

Илана. Ой, мальчики, у меня новость! (Бежит стремительно на кухню, чмокает в щеку Арона, что-то горячо шепчет ему на ухо.)

Арон (не оборачиваясь). Ты мне мешаешь...

*Илана с удвоенной энергией продолжает
шептать ему на ухо.*

Илана (возбужденно). Представляешь! Пристал, как ненормальный! Звонит по ночам, не дает прохода. Он сейчас внизу, в подъезде!

Арон (язвительно). Караулит?

Илана. Ага! Спятил, точно! (Заразительно хохочет.)

Шимон (Илане). О ком это ты?

Илана. Да художник этот! Помнишь, на площади? У кого американцы картину купили. Прилип ко мне, ага!..

Меняла (осуждающе). Сначала мясник, теперь художник. Неужели нельзя найти приличного, солидного человека?

Илана (с издевкой). Может, это ты – солидный?

Меняла (обидевшись). А что? Нет?

Арон (Илане). Ладно, можешь позвать его на ужин.

Илана (*хлопает в ладоши*). Ой, замечательно! (*Стремглав несется к люку, исчезает.*)

Арон. Сколько там еще осталось времени до шабата?

Меир (*смотрит на часы*). Минут двадцать, двадцать пять...

Шимон (*высунувшись в окно, возбужденно*). Я уже вижу первую звезду! О-о, и вторую!

Арон. У меня фактически все готово... (*Несет большое керамическое блюдо, полное снеди, к столу, командует на ходу.*) Освободите место в середине! (*Ставит блюдо на стол. Тонем церемониймейстера на королевском приеме.*) Ее величество – баранина по-испански!

Меир. Мамочки!

Шимон. Фантастика!

Меняла (*глядя на блюдо, озабоченно*). Мне вредно кушать жирное...

Арон. Можно зажигать свечи. Где Илана?

*Из люка с несколько удрученным видом
показывается Илана.*

Илана. Не хочет идти...

Арон. Наше дело – пригласить. Зажигай свечи, читай браху!

*Илана наскоро повязывает голову газовой
косыночкой, возжигает свечи.*

Илана (*прикрыв ладонями веки, с чувством*). Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который благословил нас своими заповедями и повелел нам зажигать субботние свечи!..

Присутствующие (*нестройным хором*). А-минь!

*Илана открывает ладони от глаз. По лицу ее текут
слезы. Молитвенно сложив на груди руки, она смотрит
в сторону окна, за которым мерцает на темном
бархате неба молодая звезда.*

Илана (*страстно-взволнованно*). Я так люблю эти минуты, мальчишки... когда мы все вместе, за одним столом!.. Я так люблю вас всех! Нам никого больше не надо, правда?

Целует по очереди Меира, Шимона, Арона, Менялу.

Арон. Давайте веселиться!

Сотрапезники дружно чокаются друг с другом, пьют из бокалов, закусывают.

Илана *(сладоострастно)*. Вку-усно как!

Меир *(жуя)*. Сегодня ты превзошел сам себя, Арончик! *(Добавляет себе порцию в тарелку.)* Ничего подобного... я не ел в жизни.

Арон *(вяло ковыряющемся в блюде Меняле)*. Как тебе, Гиви?

Меняла *(мрачно)*. Мне – хорошо.

Илана *(прыскает в кулак)*. Он ревнует!

Шимон *(с набитым ртом)*. Я тебя тоже ревную. Но это не причина голодать. *(Арону.)* Добавляешь немного сахара в соус, да?

Арон. Этого я сказать не могу – секрет фирмы.

Меняла. Надо уметь разбираться в людях. Если рисует картины, это еще не значит – солидный...

Илана. Я же сказала – ревнует! *(От души хохочет.)* Ой, мальчишки, он действительно такой талантливый... написал мой портрет, здорово похоже! Я сижу в ванне, представляете!

Меняла *(пораженный)*. Сидишь – голая?

Илана. Нет. В пальто и в шляпе. *(Хохочет.)*

Меир *(вытирает салфеткой губы)*. Друзья! Я намерен сделать сегодня важное заявление! *(Выбирается из кресла, идет к вешалке, надевает пиджак, возвращается на место. Достает из бокового кармана сложенный лист бумаги, очки в футляре.)*

Илана *(торжествуя от собственной проницательности)*. Я знаю! Ты покупаешь новую виллу в Савьёне! Угадала?

Шимон. Или – яхту.

Меняла. Зачем ему яхта? Его за рулем машины укачивает.

Меир. Нет, нет, речь пойдет о вещах более серьезных... *(Разворачивает перед собой лист.)* Гораздо более серьезных...

Арон. Я предоставлю тебе слово при одном условии. Если то, что ты собираешься сказать, не испортит нам аппетит.

Меир *(призадумавшись)*. Думаю, не испортит. Может, даже прибавит. *(Улыбается по-детски.)*

Арон. Отлично! Но перед этим мы выпьем!

Сотрапезники шумно чокаются, пьют.

Арон. Мы тебя слушаем.

Меир (*надев очки, торжественно*). Господа! Находясь в твердом уме и ясной памяти... я заявляю о том, что окончательно оставляю банковский бизнес и присоединяюсь к бизнесу моего близкого друга Арона. Я начинаю просить милостыню на улицах...

Илана (*разочарованно*). Ну-у!..

Шимон. Опять он за свое! Сколько можно?

Меняла. Глупость говоришь. А еще солидный человек...

Меир (*пробует продолжить чтение манифеста*). ...Окончательно убедившись в пустоте и никчемности нынешнего своего существования...

Сотрапезники, исключая Арона, дружно стучат ножами и вилками по тарелкам.

Меир (*растерянно*). Господа! Почему вы не хотите выслушать меня до конца? Почему вы устраиваете мне обструкцию? То, что я говорю сейчас, – это голос моей души... (*Арону, в отчаянии*). Арон, ты можешь вмешаться? Мне не дают говорить!..

Арон. Ты хочешь знать мое мнение?

Меир. Разумеется.

Арон. Мне не нравится твоя затея. Сказать, почему? Я не люблю революций! Не люблю революционеров, разрушителей. А то, что ты задумал, – революция одиночки, попытка разрушить с таким трудом выстроенную, разумную модель мира...

Меир (*обескураженный*). Я – революционер? Разрушитель?

Арон (*жестко*). Да. Ты только задумайся. Столетиями, шаг за шагом, ценой невероятных усилий... страданий, жертв... в мире мало-помалу установился относительный баланс между имущими и неимущими... между теми, у кого накопилось кое-что в кошельке, и теми, у кого кошелек остается пустым. Кто просит и кто – дает...

Меир (*припоминает*). По-моему, это Карл Макс...

Арон (*горячо*). Нет, не Карл Маркс, а Арон Зисман! (*Повто-*

рвет.) Кто просит и кто дает. Тех и других сегодня столько, сколько необходимо – не больше и не меньше, понимаешь? Им легко и удобно взаимодействовать... И это хрупкое равновесие, этот нежный, уязвимый организм могут запросто разрушить перебежчики вроде тебя. Страшно даже подумать, к каким это может привести последствиям!

Меир *(в сердцах)*. Господи, что он такое говорит?..

Арон. ...Возьмем, к примеру, Илану и Шимона...

Меняла *(бурчит)*. Тоже мне – парочка...

Арон. ...Природа так распорядилась, что он рожден просить, а она – давать. Согласен? *(Илана вульгарно хохочет, ее поддерживает Шимон.)* А теперь представь на минуту, что оба захотят друг у друга просить. Улавливаешь, к чему это может в конце концов привести? К полной неразберихе. Мужчина и женщина перестанут друг друга понимать. Пострадает в результате человечество...

Меир *(печально)*. Жаль, что вы все свели к шутке. *(Машинально ест.)*

Илана. Ну, зачем тебе все это, Меир? *(Гладит его ласково по голове.)* Успокойся...

Меир. Я не понимаю, зачем я живу. Я не хочу больше зарабатывать деньги. Я не хочу каждый день ходить в банк...

Меняла. Не ходи. Кушай, пей, спи.

Меир. Я хочу быть с вами. У меня нет больше никого на свете...

Илана. У тебя есть дом, семья...

Меир. Я им давно не нужен. Если бы у меня не было денег, они бы давно выбросили меня на улицу! Я для них чужой.

Арон. Черт возьми, стынет баранина!

Илана *(она заметно захмелела)*. Почему вы все такие грубые? Человек вам излил душу... У него болит душа! Почему всем наплевать, если у человека есть душа... если она болит?

Арон. Черт возьми, мы будем пить?

Илана *(со слезами на глазах)*. ...Нельзя оставлять его одного...

Шимон *(он на хорошем «взводе»)*. Меир, я тебя понимаю...
Арон, ты неправ...

*Меир страдальчески, с надеждой
смотрит на сотрапезников.*

Арон. Черт возьми! Если мои доводы кажутся вам неубедительными... хорошо! В йом ришон я беру себе отгул! Ты, Меир, сядешь на мое место на площади, мы устроим тебе экзамен! Серьезный экзамен, учти! Ты выйдешь один на один – на публику, ты должен будешь заставить ее раскошелиться. Я хочу получить веские доказательства того, что ты действительно созрел для уличного попрошайничества. Видит Бог, я противился этому, сколько мог! Вы меня вынудили. Я подчиняюсь воле большинства... *(Залом выпивает бокал.)*

Шимон *(кричит)*. Ур-ра!

Илана *(целуя Меира)*. ...Я же тебе говорила, они поймут!..

Меир *(прочувствованно)*. Спасибо, Арон! Спасибо, друзья! *(Всхлипывает.)*

Меняла. Глупый человек! Чего ему не живется, не понимаю...

Меир *(патетически)*. Налейте мне вина! Я хочу выпить за всех вас!

Арон. На твоём месте я бы не напивался перед ответственным днём.

Меир *(упрямо)*. Я должен выпить и я – выпью!

Шимон. Ур-ра!

Арон. Черт с тобой! Провалишься в воскресенье на площади – пеняй на себя!

Картина третья

Обстановка первой картины. Утро. За столиком кафе сидит, в драной майке с надписью «Бейтар, Иерусалим» и затрепанных шортах, взволнованный Меир, то и дело поглядывающий на часы. По-хозяйски хлопочет за прилавком Шимон. Торопясь, проходят через площадь редкие прохожие.

Шимон. Перестань волноваться. Он только что звонил. Будет минут через десять-пятнадцать...

Меир. Дай мне, пожалуйста, попить.

Шимон выносит ему бутылочку минеральной, Меир хватается у него из рук, жадно пьет. Через площадь, направляясь в сторону кафе, идет в ослепительно белом костюме «тропикаль» подтянутый свежесбривший Арон с пачкой свежих газет в одной руке и шляпой-котелком в другой.

Арон (подойдя к столику). Доброе утро! (Протягивает котелок Меиру, садится напротив, бросает небрежно газету на стол. Шимону.) Привет, Шимон! Мне кофе со сливками без сахара и парочку гренок. (Смотрит некоторое время оценивающе на экипировку Меира.)

Меир (держа на коленях котелок, испуганно). Не то, да? Тебе не нравится?

Арон. Да нет. В общем, нормально. Тольконими часы. Нищий с механическим „Роллексом“ за две тысячи долларов выглядит несколько странновато. И потом... где ты раздобыл эту майку? Ты ведь собираешься просить милостыню в Тель-Авиве, не так ли? А на груди у тебя что? (Читает.) „Бейтар, Иерусалим“. С такой эмблемой тебя будет бить каждый второй проходящий мужчина. Ты что, не знаешь, что все они тут поголовно – фаны тель-авивского „Маккаби“?

Шимон выносит Арону кофе и гренки.

Меир (Шимону). Дай мне, пожалуйста, еще воды.

Арон (с аппетитом жуя гренки и отхлебывая из чашки). И еще мне не нравится выражение твоего лица. Я читаю на нем гордыню, Меир. Гордыня, да!.. Это очень неподходящее выражение лица для человека, который будет что-то у кого-то просить... Все, что угодно, слышишь! Все, что угодно: смирение, скорбь... душевная опустошенность, протрация – только не гордыня.

Шимон выносит Меиру бутылочку воды, тот выпивает ее в один прием, без остатка.

Меир (потерянно). Что делать с майкой?

Арон. Надень задом наперед.

Шимон *(из-за прилавка)*. Может, отложишь, Меир?

Меир *(с отчаянной решимостью)*. Ни в коем случае! *(Переодевает задом наперед майку.)*

Арон. Тогда – с Богом! И смени гордыню на лице! Никакой гордыни, ясно?

Набрав в легкие побольше воздуха, точно собираясь нырнуть в воды океана, Меир устремляется к «насиженному» Ароном месту на краю газона, садится на траву, спиной к кафе и лицом к зрителям, кладет на край скамейки шляпу. На площади появляется бодро вышагивающий Шапиро, видит сидящего за столиком Арона, идет, радостно улыбаясь, в его сторону.

Шапиро. Доброе утро, Арон! Вижу, ты сегодня отдыхаешь... А у меня с утра хорошие новости – жене значительно лучше! Я только что разговаривал с лечащим врачом, на будущей неделе ее, возможно, выпишут из больницы... *(Достает кошелек, извлекает десятишкелевую банкноту, кладет на столик рядом с Ароном.)*

Арон. Поздравляю! Это просто замечательно!

Шапиро. Спасибо! Большое спасибо!

Шимон *(из-за прилавка)*. Добрый день, господин Шапиро! Бутылочку минеральной?

Шапиро. Да, с удовольствием! *(Пьет воду. Арону, кивая в сторону сидящего на газоне Меира.)* Кто-то уже облюбывал твое местечко...

Арон. А-а, этот? Поселенец... протестует против ухода с Голанских высот.

Шапиро *(живо)*. Да? Я тоже – против! *(Кладет на прилавок монету.)* Будьте здоровы, до встречи!

Арон. Всего тебе доброго, господин Шапиро!

Шимон. Заходи почаще!

*Шапиро устремляется в сторону газона.
Завидев его, Меир вскакивает на ноги.*

Меир *(хрипло, со зверским выражением на лице)*. Господин!..

Шапиро *(взволнованно)*. Да, да, я тоже против! Ни шагу с Голан!.. Где у тебя можно расписаться?

Ничего не понимающий Меир стоит в замешательстве, крепко ухватив себя руками за майку, – как перед расстрелом.

Шапиро. А, понял! *(Выхватывает из кармана авторучку, расписывается на груди у Меира, с чувством пожимает ему руку. Кричит взволнованным голосом проходящим мимо людям.)* Господа! Кто против отступления с Голанских высот? Расписывайтесь!

В одно мгновение вокруг несчастного Меира образуется толпа. Люди рвут друг у друга ручки и фломастеры, чтобы расписаться у него на груди... Но вот толпа редеет. Обескураженный Меир смотрит себе на грудь. Он весь расписан разноцветными надписями. Кто-то, за неимением места, оставил свою подпись у него на шортах, кто-то на бедре. Потерявший дар речи Меир оборачивается, ища поддержку, в сторону кафе. Арон продолжает невозмутимо завтракать. Шимон свалился за прилавок и корчится там в приступе безудержного смеха. На площади появляется мадам Циперович с собачкой на поводке, подходит к газону.

Меир *(жутким голосом, протягивая руку к мадам Циперович).* Госпожа!..

Мадам Циперович *(изумленно).* Что такое? В чем дело?

Меир. Госпожа! Я намерен обратиться к тебе...

Мадам Циперович *(перебивая, с возмущением).* Что здесь происходит? Почему ты сидишь со шляпой господина Арона? Где сам господин Арон? Я сейчас позову полицию! *(Видит сидящего за столиком Арона, устремляется к нему.)* Здравствуй, Арон! Что это за человек на твоём месте? У него такой странный вид...

Арон. А, этот? Активист движения за охрану окружающей среды.

Мадам Циперович *(остывая).* Да? Но у него такой необычный вид... *(Вытаскивает из кошелечка монету, кладет на столик Арона, продолжает свой путь.)*

Арон *(вдогонку).* Целую ручку, мадам Циперович! *(Пьет кофе.)*

По площади идут в обнимку Илана с Игалем, подходят к кафе.

Илана *(счастливая и влюбленная).* Мальчики, привет! *(Видит*

сидящего на газоне Меира, падает на стул, дергается от смеха.)
Ой, держите меня! Ой, не могу!

*Выразительно прижимая пальцы к губам,
Арон показывает ей: помолчи!*

Илана (*не в силах удержаться*). Ой, мне сейчас будет плохо!
(*Продолжая смеяться, с нежностью – Игалю.*) Игальчик, садись,
родной!

*Игаль с независимым видом усаживается за столик.
Из-за прилавка показывается голова изнеможенного от смеха
Шимона. Увидев его, Илана заходится в новом приступе
смеха. Вторя ей, валится лицом на прилавок успокоившийся
было Шимон. К столикам подходит, как всегда
неряшливый, Меняля, присаживается.*

Меняля. Не понимаю, о чем можно смеяться с утра... (*Видит
Меира на газоне. Осуждающе.*) Сумасшедший человек... (*Тут
же – Игалю.*) Сегодня подорожал доллар. Хочешь поменять на
шекели?

Игаль. Нет.

Меняля (*с насмешкой*). Уже – пустой, да?

Игаль. Отвяжись! Тебе какое дело?

Илана (*заботливо*). Игальчик, ты еще не проголодался? Зака-
зать тебе чего-нибудь?

Игаль. Можно пива.

Илана (*кричит*). Шимон, дай две бутылки пива! Только не
„Голд Стар“! (*Арону с Менялой.*) Ребята, что будете пить? Я уго-
щаю! (*Игалю.*) Игальчик, можно я им скажу?

Игаль (*пожимает плечами*). Как хочешь...

Илана (*торжественно*). Арон, Гиви! Мы – жених и невеста!
Игаль мне сделал предложение!

Арон. Мои поздравления.

Шимон несет бутылки с пивом и стаканчики.

Илана (*Шимону*). Ты слышал?

Шимон. Да. Поздравляю.

Меняла, не говоря ни слова, рывком поднимается со стула, идет к фонтану, садится на край бассейна, закуривает.

Илана (*ему вслед*). Кавказский Отелло! (*Хохочет.*) Мальчики, что вам заказать?

Арон. Не знаю, я уже позавтракал...

Илана (*капризно*). Ну-у, Арончик!

Арон. Хорошо. Можно кофе со сливками. Без сахара.

Илана. Тебе, Шимон?

Шимон. Выпью пива. „Голд Стар“.

Илана (*Арону, показывая на газон*). Можно отнести ему что-нибудь?

Арон (*решительно*). Нет!

Илана (*не очень уверенно*). Ну-у, Арончик... (*Умолкает, видя холодный, стальной взгляд Арона.*)

По ступенькам, ведущим на пляж, на площадь выбирается озабоченный чем-то Хури с сумкой через плечо, быстро идет в сторону кафе.

Хури (*сидящим за столиком*). Шалом! Я только что встретил мадам Циперович... Тут где-то проводится акция в защиту окружающей среды...

Арон (*показывая в сторону Меира*). Вон тот человек.

Хури. Ага, замечательно! Я хочу передать через него личный протест мэру Тель-Авива! Что делается, скажите! Засрали, понимаешь, весь пляж... порядочным людям негде полежать, отдохнуть. Бутылки, окурки, презервативы! А они, понимаешь, не чешутся. Куда идут наши налоги, скажите? Жулики проклятые!.. (*Машинально выуживает из сумки монетку, протягивает Арону, устремляется в сторону газона.*)

Меняла (*проходящему мимо Хури*). Доллары, марки, фунты, лиры...

Хури (*раздраженно*). Еще один паразит!..

Меир (*вскочив навстречу Хури, с разбойничьим выражением на лице*). Господин!..

Хури (*изумленно*). Господин директор банка? Это – ты? Что с тобой? Что ты тут делаешь?

Меир *(с легким завыванием)*. ... Разреши обратиться к тебе...

Хури *(его осеняет)*. ...Понимаю... понимаю... Так ты, наверное, хочешь подчеркнуть, до какого состояния эти жулики довели Тель-Авив. Да? *(Хлопает себя по лбу)*. Слушай! Это отлично придумано! Отлично!..

Меир *(продолжает канючить)*. ...Убедительно прошу...

Хури *(с восторгом)*. Здорово! Замечательно! Господин директор банка, слушай! Я присоединяюсь к тебе! Лады? Все равно мне нечего делать... я еще в отпуске. *(Садится на газон рядом с Меиром)*. Пусть эти сволочи видят, что порядочные люди вместе, когда речь идет о чистоте их родного города!

Меир встает с газона, забирает со скамейки шляпу.

Хури *(дружески)*. Правильно... иди пока немного отдохни в тени, попей водички... а я посижу. Будем меняться с тобой через каждые полчаса, лады? Давай мне твою майку... *(Натягивает майку Меира, отдает ему свою)*

С видом побитой собаки Меир идет в сторону кафе, подходит к столику, садится на заботливо подставленный Иланой стул, протягивает шляпу Арону. Тот заглядывает в шляпу, переворачивает ее, показывая, что внутри – пусто.

Меир *(безжизненным голосом)*. Я провалился, Арон!..

Арон *(философски)*. Каждому – свое, Меир. Не унывай... *(Наливает ему стакан воды, протягивает)*. Выпей!

Меир. Нет... *(Отставляет стакан в сторону, зовет)*. Шимон!

Шимон *(из-за прилавка)*. Да, Меир!

Меир. Дай мне большую рюмку коньяка. И вызови, пожалуйста, такси...

Арон *(благодарушествуя после хорошего завтрака)*. Ты поздно родился, Меир! Золотой век нищенства миновал. И серебряный – тоже. Мы с тобой присутствуем при закате одного из древнейших занятий человечества, его деградации... *(Раскидывается поудобнее в кресле)*. Нищий на улице был когда-то такой же существенной частью исторического пейзажа, как церковь... как тюрьма. Он был необходим обществу. Каждый человек в

его присутствии мог ощутить себя хоть на мгновение милосердным, а значит – и могущественным. Самый занюханный поденщик, кухарка, мелкий лавочник, сунув ему в руку медный грош, чувствовали себя маленькими Ротшильдами... Все это кануло в вечность, Меир! Нищенство вырождается, как ремесло... и как искусство тоже. Нет былого понимания между дающими и берущими... нет инструмента Веры между ними... Посмотри, что творится в Америке! Нищие там уже не просят, им лень лицедействовать, лень разыгрывать прохожего... сочинять на ходу диалоги, мизансцены... играть с партнером, помогать ему испытывать удовольствие, облегчая свой кошелек. Они предпочитают всему этому – грубый шантаж, вымогательство, насилие. И посмотри, как тлетворно это отразилось на человеке дающем! Ему уже абсолютно наплевать, в какую именно хамскую лапу он сует свой доллар! Он равнодушно бежит мимо нищего на тротуаре, он торопится: в оффис, к любовнице, на уик-энд – он швыряет монету в морду шантажисту-попрошайке и несется дальше... только бы его оставили в покое...

Илана (*восторженно*). Какой ты у нас умница, Арон! (*Игалью.*) Правда, Игальчик?

Игаль. Чего же, в таком случае, ты не бросишь свое занятие? Если оно в таком упадке?

Арон. Я – человек уходящего века. Мне поздно пересаживаться на другой поезд.

Илана. Мальчики, вы не забыли? В следующую субботу встречаемся у меня. (*Кричит в сторону фонтана.*) Гиви!

Меняла (*обернувшись, с мрачным видом*). Чего?

Илана (*кричит*). В субботу пьянствуем у меня! Не забыл?

Меняла гневно отворачивается.

Илана (*хохочет*). Отелло!

Со стороны отеля настойчиво звучит автомобильный гудок.

Меняла (*кричит, обернувшись*). Меир, твое такси пришло!

*Меир делает прощальный жест Арону, Шимону,
Илане с Игалем, идет в сторону отеля.*

Меняла (*машинально, проходящему мимо Меиру*). Доллары, лиры, марки, фунты...

Хури (*идущему мимо него Меиру*). Ты – пописать, господин директор банка? Для этого совсем не нужно ехать на такси... это близко, вон там! (*Показывает рукой, где.*)

Меир, не говоря ни слова, удаляется.

Хури (*ему вслед, громко*). Меняемся через пять минут, лады?

*Попрощавшись с Шимоном и друг с другом, расходятся
в разные стороны Арон и Илана с Игалем.*

Картина четвертая

*До поднятия занавеса на сцене слышны нестройные голоса,
звяканье посуды, женский смех.*

Гостиная, она же спальня, Иланы, значительную часть которой занимает большая двуспальная кровать с горой шелковых вышитых подушек. Над кроватью – портрет сидящей в ванне Иланы, намыливающей себе губкой груди. В центре помещения – обеденный стол с зажженным светильником, тарелками с едой, бутылками, бокалами, рюмками. Ранний вечер. За столом в разной степени опьянения – Илана, Игаль, Меир, Арон, Шимон, Меняла. Их обслуживают два ресторанных официанта в униформе, которые спуют от стола на кухню и обратно, меняя посуду, унося и принося еду и напитки.

Илана. Мальчики, кому еще питу? Арон?

Арон. Я – пас.

Илана. Тебе, Меир?

Меир. Мне можно.

Илана. Шимон, Гиви?

Шимон. Я, пожалуй, съем кусочек.

Меняла. Два куска!

Илана (*официантам*). Ребята, действуйте! И налейте всем вина!

Официанты обслуживают гостей.

Меняла (*он на приличном взводе, Шимону*). Слышал анекдот? Муж возвращается домой... (*Задумывается*). Дальше – не помню...

Шимон (*подсказывает*). ...А жена в постели с любовником...

Меняла (*радостно*). Точно! В постели с любовником!..

Шимон. Ну? Что дальше?

Меняла. Дальше не помню.

Илана (*стараясь выглядеть трезвой*). Игальчик, как ты считаешь: можно уже подавать фрукты и мороженое?

Игаль (*не слушая ее, Меиру*). ...И сколько же стоит твоя коллекция? Миллион? Два?

Меир (*жуя*). Думаю, больше. По моим подсчетам, миллионов семь.

Игаль. Долларов?

Меир. Разумеется, долларов.

Меняла. Единственная нормальная валюта. Остальное – говно! (*Шимону*.) Зачем, скажи, ему столько денег? Не пьет, не курит, в карты не играет?

Илана. Игальчик, ты мне не ответил!..

Игаль (*отмахивается*). Делай, как знаешь!. (*Меиру*.) Ты покупаешь свои картины без разбора? Берешь, какая приглянулась? Или кто-то тебя консультирует?

Меир. Видишь ли... коллекцию начинал еще мой отец, он хорошо разбирался в живописи. Я только продолжил, и все. (*Накладывает еду на тарелку*.) Сейчас, если я нахожу что-нибудь подходящее, я обычно советуюсь с Ароном.

Игаль (*настойчиво*). Участвуешь в выставках?

Меир. Крайне редко. Если предложения исходят от престижных устроителей. Лондонская картинная галерея, Нью-Йоркский музей современного искусства, Лувр, разумеется...

Игаль (*с завистью*). Да-а...

Илана (*Меиру*). Хочешь еще грибов в сметане?

Меир (*смеясь*). Конечно, хочу!

Илана (*официантам*). Ребята, сюда грибков!

*Первый официант накладывает Меиру
грибы в тарелку.*

Илана (*официанту*). Клади, клади побольше...

Меир (*хохочет*). Я сегодня лопну!

Арон. Это происходит с тобой каждую субботу.

Илана. Ешь на здоровье, дорогой... мне так нравится тебя угощать!

Меир. Спасибо, Иланочка! (*Галантно целует Илане руку.*)

Илана (*громко*). Вот это мужчина! (*Нежно целует Меира в щеку.*)

Меняла (*вскрикивает*). вспомнил!.. Муж видит в постели любовника...

Шимон. Ну?

Меняла. Дальше – не помню.

Игаль (*Меиру*). Найди мне покупателя.

Меир (*вежливо*). Хорошо, я подумаю. (*Ест.*)

Илана. Меир, ты обязательно должен что-нибудь у него купить! Правда, он талантливый? (*Обнимает Игалья, страстно целует, тот, как может, уклоняется от ее ласк.*)

Меир. Да, разумеется... у него несомненный талант. (*Ест.*)

Илана (*разнеженно, Меиру*). Купи мой портрет! (*Смотрит с восхищением на картину.*) Потрясно, да? Как вам, мальчики? Арон, как тебе?

Арон. Мне – не очень. Смахивает на рекламу шампуня для ванн.

Илана (*гневно*). Перестань! Не смей так говорить! Почему ты все время говоришь Игалью гадости? Он тебе не нравится, да?

Арон. Мы говорим про картину, не про художника. Картина мне не нравится.

Илана (*кричит*). А я ее считаю шедевром, вот! (*Смотрит с любовью на портрет.*) Это же вылитая – я!

Арон. Грудь похожи.

Илана. Не смей!

Игаль (*ядовито*). Но сквозь них, вероятно, не просвечивает душа, да? Или – что там еще?

Арон. Знаешь, а ты прав: в твоём полотне действительно что-то не просвечивает.

Меняла (*с обидой*). Вот так все время: соберут людей, а сами говорят, говорят. О чем говорят, сами не понимают.

Меир (*примирительно*). Портретное сходство несомненно... (*Игалю.*) Со временем, я думаю, ты сумеешь найти заказчиков на портреты.

Игаль (*загорается*). Я могу сделать портрет за два сеанса!

Арон. Вроде этого... (*Кивает на портрет над кроватью.*)

Игаль. Иди к черту!

Илана. Арон, как тебе не совестно! Замолчи! (*Меиру, страстно.*) Помоги ему, Меир!

Меир (*растерянно*). Хорошо, хорошо... я подумаю... (*Машинально кладет себе что-то в рот, жует.*)

Илана (*мечтательно*). Мы разбогатеем, купим квартиру...

Игаль (*с азартом*). Эх, мне бы – студию! Я бы развернулся!

Арон (*неожиданно*). Меир, купи у него портрет! (*Видя растерянность и смятение Меира.*) Я войду к тебе в долю! (*Игалю.*) Во сколько ты его оцениваешь?

Игаль (*застигнутый врасплох*). Ну, я не знаю... (*Ошарашенно смотрит на Илану, ища у нее поддержки.*)

Илана (*торжествуя, Арону*). Ага, клюнул все-таки! А чего тогда про шампунь темнил? (*Заводится.*) Игальчик, не продавай ему! Это – подарок, слышишь! Я не разрешаю!

Игаль (*шипит со злобой*). Да умолкни ты, наконец! „Подарок“, „подарок“! Я тебе напишу двадцать таких! (*Арону.*) Назови сам цену! Только учти: за бесценок я ее не отдам...

Арон (*быстро*). Пять тысяч, согласен?

Игаль (*не веря своим ушам*). Долларов?

Арон. Да, черт возьми!

Игаль (*с крайней степенью недоверчивости*). Ты – чего? В дурочку со мной играешь?

Арон (*ледяным тоном*). Мало?

Меир. По-моему, ты переборщил. (*Смотрит на картину.*) Она не стоит столько.

Арон. Если не хочешь, я куплю ее один.

Шимон (*пьяно-дурашливо*). А-аро-оон! Ты чего-то затеял...
(*Грозит Арону пальчиком.*) Да?

Меняла. Говорят, говорят... сами не знают, чего говорят...

Илана (*она уже пьяна, Игалю*). Не продавай ему, понял! Я не разрешаю, понял! Это – подарок...

Игаль. Отцепись! Я сам знаю, что делать!

Первый официант (*Илане*). Десерт подавать, госпожа?

Илана (*вяло машет рукой в его сторону*). Валите, ребята... мы сами. (*Лезет за лифчик, достает банкноту, протягивает официанту.*) Вот вам... чаевые. Валите, ребята! Чао!..

Официанты торопливо уходят.

Илана (*продолжает бормотать*). Валите, ребята... мы сами...
(*Пробует налить себе вина, льет на скатерть, опрокидывает бокал, хихикает.*) Бокальчик набухался в стельку, не стоит на нож-ках...

Арон. Надо уложить ее в постель... (*Подхватывает подмышки шатающуюся Илану, тащит к кровати, ему пробует помочь Меняла, который тут же валится обратно в кресло.*)

Илана (*хихикает*). А-а, на кроватку? Групповой секс, да?

Арон укладывает ее, снимает с ног туфельки, бережно укрывает половинкой покрывала.

Илана (*кричит*). Не трогай меня! Я – невеста! Думаешь... я не знаю, за что ты его ненавидишь? Думаешь, не знаю?..

Арон (*укрывая ее*). Хорошо, хорошо – знаешь... Поспи немного.

Илана (*тихо всхлипывая под одеялом*). Думаешь... не знаю?..
(*Затихает.*)

Меир (*возвратившемуся к столу Арону*). Я могу дать за его картину две с половиной тысячи...

Арон. И я – столько же. Мы берем ее вместе.

Шимон (*пьяно*). Ур-ра!

Арон. Мы, кажется, забыли спросить у автора: согласен он на такую цену?

Игаль (*поспешно*). Да.

Меир. Сделку мы оформим завтра, у меня в банке. Я приглашу... *(задумывается)* на двенадцать пятнадцать своего адвоката. *(Игалью.)* Время тебя устраивает? *(Игаль кивает в знак согласия.)* Картину ты принесешь туда, договорились?

Игаль. Да.

Шимон. Ур-ра! За это надо выпить!

Меняла *(бормочет).* Не понимаю, зачем я связался с этой компанией? Говорят, говорят...

*Меир идет к телефонному столику,
снимает трубку телефона, набирает номер.*

Меир *(в трубку).* Диспетчерская? Такси на Бен-Ами, восемнадцать! *(Вешает трубку.)*

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина пятая

Ночлежка Арона. Ранний вечер. К привычному расположению вещей добавилась только небольшая школьная доска на подставке-треноге, стоящая напротив обеденного стола, за которым сидят перед раскрытыми тетрадками Первый и Второй ученики ульпана нищих. Оба внимательно слушают расхаживающего перед доской Арона с указкой в руке.

Арон *(тоном университетского профессора).* Господа! Сегодня у нас первое занятие в ульпане нищих, которым я согласился руководить ввиду исключительности ситуации, сложившейся в настоящее время в Тель-Авиве... как, впрочем, и в целом по стране. Количество нищих катастрофически растет. В местах традиционного попрошайничества – толчея, кулачная конкуренция...

Первый ученик. Господин учитель, пожалуйста... говори по-медленнее... я не успеваю записывать...

Арон. Хорошо. *(Продолжает.)* Сложившаяся обстановка настоятельно требует самого серьезного подхода к вопросам качества нашего ремесла. Качества, да! Дилетанту-попрошайке сегодня попросту нечего делать на улице – его, как пылинку, сметут профессионалы, мастера своего дела. *(Второму ученику.)* Ты, по-моему, не конспектируешь? Напрасно...

Второй ученик. У меня хорошая память, господин учитель.

Арон. Ну, смотри... *(Продолжает.)* Свободный рынок нищих в условиях капиталистической экономики требует специалистов высокой пробы, восприимчивых к новым идеям, способных найти оригинальные, нешаблонные пути к кошелькам благополучных сограждан... *(Первому ученику.)* Зачеркни „к кошелькам“. *(Продолжает, с пафосом.)* Не к кошелькам! К сердцам, господа! В этом вся штука! К сердцам!

Телефонный звонок. Арон идет к лестнице на антресоли, под которой висит телефонный аппарат, снимает трубку.

Арон. Да, я слушаю! Да, это частный ульпан по повышению квалификации нищих... *(Слушает.)* К сожалению, ты опоздал, господин: занятия уже начались. Я могу записать тебя только на следующий поток. Через три недели... Вместе с женой? Нет, женщин я пока не принимаю... возможно, попозже, у меня еще не разработаны соответствующие методики...

Второй ученик, видя, что Первый слушает учителя, хватая со стола его ручку и прячет в карман.

Арон. ...Ну, что, будешь записываться? Хорошо. Назови имя и адрес. *(Вынимает из кармана ручку, блокнот.)* Так, понял... Семён Лифшиц, Бээр-Шева... *(Записывает.)* Только учти: проезд – за собственный счет! Будь здоров, до встречи! *(Возвращается к доске.)*

Первый ученик растерянно шарит по столешнице, лезет под стол.

Арон. Что случилось?

Первый ученик *(высунувшись из-под стола).* Ручка, господин учитель... она куда-то пропала...

Арон. Возьми мою... *(Протягивает.)* Так, на чем мы остановились?

Первый ученик *(вычитывает из тетрадки).* „Не к кошелькам! К сердцам, господа! В этом вся штука! К сердцам!“

Арон *(Первому ученику).* Молодец! *(Второму ученику.)* А ты напрасно не конспектируешь...

Второй ученик *(нагло вато).* Не волнуйтесь, господин учитель. Я запомню...

Арон. Ну, хорошо... *(Вынимает из кармана листки конспекта, бегло просматривает, продолжает.)* За три недели занятий вы познакомитесь с кратким историческим очерком эволюции нищенства – с библейских времен до наших дней...

Первый ученик. Помедленней, пожалуйста...

Арон. Не надо записывать все слово в слово. Конспектируй тезисно! *(Продолжает.)* ...Получите представление о национальных особенностях попрошайничества у народов Европы, Азии, Африки, Латинской Америки... Я советую вам найти в библиотеке и прочесть книгу французского исследователя Луи Полиана „Нищенствующий Париж“, а также труды русского автора Свирского...

Второй ученик слегка присвистывает от удивления.

Арон. Но главный упор, разумеется, мы сделаем на практику! *(Идет к доске, быстро рисует мелом какую-то схему.)* Вот вам свежий пример... из жизни. Кто-нибудь из вас знаком с хромым нищим Шаломом? Нет? Он работает на одном из самых прибыльных мест в Гуш-Дане... вот, смотрите... *(Показывает указкой на схеме, где именно.)* Это – большой холонский перекресток, вы, наверное, его знаете... Крутой подъем, четыре светофора и, как следствие, постоянные автомобильные пробки...

Первый ученик. Схему надо перерисовывать?

Арон. Не надо. *(Продолжает.)* ...Хромой Шалом клянчит деньги у автомобилистов, прижатых к разделительному барьеру и ждущих зеленого света. Он берет их „тепленькими“ в момент, когда им некуда деться, – идет по разделительной полосе в потоке застрявших машин и сует лапу в окошечки... Его дневной

улов – триста пятьдесят-четыреста шекелей! *(Второй ученик восторженно присвистывает.)* Столько у нас в Израиле зарабатывают только министры и проститутки...

Из люка показывается шляпа Меира, а за ней – и сам он, по обыкновению слегка отдувающийся.

Меир. Здравствуй, Арон! Господа, здравствуйте! *(Виновато, Арону.)* Я, наверное, не вовремя?

Арон. У меня – ученики. Раздевайся, посиди.

Меир. Я – тихо... *(На цыпочках идет к вешалке, снимает шляпу, пиджак, осторожно присаживается на ступеньку лестницы, ведущей на антресоли.)*

Арон *(ученикам).* То, что я сейчас вам рассказал, – вводная часть к задаче, которую мы будем решать сегодня на уроке. В чем она заключается? Год примерно спустя после того, как хитрюга Шалом начал свой гешефт на золотом перекрестке, доходы его неожиданно стали катастрофически падать. Ему перестали подавать. Ничего вокруг не изменилось: те же светофоры, тот же подъем, те же автомобильные заторы... тот же дедушка Шалом. А денег не дают... У вас *(смотрит на часы)* пять минут на обдумывание. Вы должны мне ответить: почему? *(Идет к сидящему на ступеньке Меиру.)* У тебя что-то случилось?

Меир. Да, ты знаешь, удивительная история... Я имею ввиду эту картину Игаля.

Арон. Ты повесил ее у себя, как я просил?

Меир. Да, разумеется, среди самых лучших своих работ... Сказать по правде, я не совсем понял, зачем тебе все это понадобилось...

Арон. Я готов вернуть тебе твой пай!

Меир. Не о деньгах речь! *(Теряется.)* Вернее, именно о них... Понимаешь: загадочная история. Вокруг этой картины – настоящий бум! У меня уже побывало несколько торговцев, предлагают продать! Солидные, опытные торговцы хотят приобрести заурядный кич... Ведь это – кич, ты согласен?

Арон. Ни в коем случае не продавай!

Меир. Разумеется, я помню о нашем уговоре. Но они уже вышли на Игалья, по моим сведениям, они ведут с ним переговоры об авторской копии...

Арон. Копии не будет! По крайней мере, в течение полугода... я с ним разговаривал вчера.

Меир (*растерянно*). Так ты – в курсе дел? И ничего мне не говоришь...

Арон. Потерпи немного, хорошо? И ничего у меня не спрашивай. Придет время, я сам тебе все расскажу. Мы же доверяем друг другу, не так ли?

Меир (*в замешательстве*). Хорошо, дружище...

Арон. Сколько за нее сейчас дают?

Меир. Двадцать тысяч.

Арон. Ни в коем случае не продавай! (*Идет к доске, ученикам.*) Ну, как, господа? Нашли ответ? Те же светофоры, тот же подъем, тот же дедушка Шалом. А денег не дают... В чем тут дело, а? (*Смотрит с ожиданием на растерянные лица учеников, взрывается.*) Да именно – в этом! Что ничего не меняется! Хромой попрошайка Шалом приелся, стал повседневным, будничным... как теща на кухне! Надоел в конце концов: каждый день на этом перекрестке, и каждый день просит... Ему бы в это время, допустим, сделать паузу – несколько дней не появляться. Улавливаете? Автомобилисты стоят на перекрестке в ожидании зеленого света и гадают: куда это исчез наглый хромой попрошайка, не случилось ли с ним какое-либо несчастье? А он через неделю возьми и появись – с перевязанной головой, к примеру. Чувствуете, какой эффект?... В нашем деле время от времени необходимо менять... декорации, репертуар, мизансцены. К нищете привыкают. Как к жаре, холоду. Трудно удержаться, чтобы не подать одному, стоящему с протянутой рукой на краю тротуара. Но если стоит – десяток, через три-четыре метра друг от друга? Если стоят – сотни, и все говорят одно и то же, одни и те же слова? Если нищих – пятая часть населения страны?

Меир (*аплодирует, не в силах удержаться, Арону*). Арончик, bravo! Твоя речь вызвала бы сенсацию на всемирной конференции нищих!

Арон. Я не гонюсь за славой. Кстати, идея ульпана нищих

принадлежит отчасти тебе. Меня осенило, когда я наблюдал за тобой на площади...

*Из люка вылезает взъерошенный Меньяла,
недоверчиво осматривается.*

Меньяла (Арону). Как дела? Это твои новые ученики? *(Садится у подножья ступеньки, рядом с Меирусом – на пол.)* Устал, как собака... *(Меиру.)* Ты – со службы? *(Арону.)* Пожрать чего-нибудь не найдется? Не успел пообедать... Народ очумел: меняют деньги, как на пожаре... *(Оживляется.)* Новость – слышали? Илана покупает машину... „Пежо“, кажется. Этот, ее жених, деньги начал заколачивать. Не понимаю, какому дураку нужны его картинки?

Арон *(ученикам)*. Господа, на сегодня все! Через неделю встречаемся на площади, я хочу посмотреть вас в работе. Подумайте над имиджем: одежда, тип характера и так далее... *(Второй ученик торопится к выходу.)* Минуточку, я еще не все сказал! Попрошу вас выполнить домашнее задание. Попробуйте выклянчить у жены двадцать шекелей на пиво в то время, когда она стирает белье. Только, пожалуйста, без рукоприкладства – исключительно методами убеждения... *(Идет на кухню, зажигает газовую конфорку, ставит сковородку, кричит.)* Гиви, сколько тебе положить яиц?

Меньяла. Шесть! Только сильно не поджаривай!

Ученики, вежливо попрощавшись, уходят.

Меньяла *(Меиру)*. Откуда газетчики узнали, что ты купил картину этого типа?

Меир *(в изумлении)*. Газетчики? И им уже известно?

Меньяла. Директор банка, а газет не читаешь... *(Лезет за пазуху, достает газету, разворачивает, находит нужное место, сует Меиру.)* Вот, читай! „Незнакомка в ванне!“ „Рекордная цена!“...

Меир *(торопливо читает. Арону, идущему со сковородкой к столу)*. Арон, ты читал? Это же какой-то бред... они пишут, что я купил этот портрет за пятьдесят тысяч долларов! С ума сойти!

Арон *(философски)*. Ты что, газетчиков не знаешь? Пусть себе

треплются... Для твоей коллекции – лишняя реклама. *(Зовет.)*
Гиви! Твоя яичница!

*Меняла не откликается. Он спит, сидя на полу,
крепко сцепившись рукой в поручень лестницы.*

Арон *(Меиру)*. Ладно, пусть поспит. Садись к столу, я сейчас заварю свежий кофе.

Картина шестая

Обстановка первой картины. Утро. На месте Арона сидит в позе «йоги» одетый в национальную одежду индусов, босой, с белым тюрбаном на голове Первый ученик ульпана нищих. Неподдалеку от него расположился Второй ученик. Он – в разодранной на груди майке, в драных и грязных шортах и в жуткого вида сандалиях. Кроме того, у него заплыл один глаз и большой синяк во всю щеку. За прилавком кафе копошится Шимон. Со стороны отеля идет эффектно, со вкусом одетая и модно причесанная Илана с дорогой сумочкой через плечо, бросает, проходя мимо, мимолетный взгляд на Первого и Второго учеников, подходит к кафе, садится за столик.

Илана *(устало, Шимону)*. Привет!

Шимон. Здравствуй! Где пропадала?

Илана. Зашилась. Работаю... позирую...

Шимон. Много заказов?

Илана. Ага. Не успеваем выполнять. Стою голая по восемь часов подряд. Под кондиционером. Простудилась, в жопу... *(Надсадно кашляет.)* Все хотят, чтоб на картине обязательно была гёрла, похожая на „Незнакомку в ванне“. Офонарели, точно...

Шимон. Зато денежки плывут.

Илана *(монотонно)*. Плывут... Игаль все время в цейтноте, зашивается. Психует. Не хочет упустить клиентов.

Шимон. Ну, это, в общем, правильно. Пока фарт идет...

Илана. Устала я... Сделай мне черный кофе, двойной.

Шимон. Сейчас... *(Готовит кофе.)*

Илана *(немного оживившись).* Откуда эти чучела взялись? *(Показывает на Первого и Второго ученика.)*

Шимон *(со смехом).* Ученики Арона! Практику проходят!

Илана *(через паузу).* А сам он где?

Шимон. Работает возле Дизенгоф-центра. Звонил недавно. Обещал подъехать. У них... *(хочотнул, показывая на учеников)* сегодня экзамен. Умора!

Илана. Про меня он не спрашивал?

Шимон. Кто?

Илана. Арон.

Шимон. Нет. А что он должен был про тебя спрашивать?

Илана. Ничего. Дай мне кофе!

Шимон, спохватившись, несет ей кофе, Илана жадно пьет. По ступенькам со стороны пляжа на площадь выходит Хури в разрисованной майке Меира, направляется в сторону кафе.

Хури *(подойдя к столикам, Илане).* По-моему, я встречал тебя на пляже? Подпишешься в защиту тель-авивской береговой полосы? Против загрязнения?

Илана *(равнодушно).* Где расписаться?

Хури *(протягивая ей фломастер и поворачиваясь спиной).* Вот здесь... на груди нет места.

Илана. Но тут у тебя вроде написано „Бейтар, Иерусалим“...

Хури. Ничего, это случайно... расписывайся!

Илана расписывается на спине Хури.

Хури *(Шимону).* А ты?

Шимон берет у него фломастер, расписывается на спине. Хури забирает фломастер, идет наискосок через площадь, сталкивается с торопящимся куда-то Шапиро.

Шапиро *(Хури, радостно).* Ты подхватил эстафету того солидного господина, да?

Хури. Он, наверное, заболел... чего-то не появляется... уже целую неделю.

Шапиро. Как идет сбор подписей?

Хури. Нормально. Я взял дополнительно несколько дней отпуска за свой счет... не хочу бросать дело на полпути. Подпишешься?

Шапиро. Я уже подписался, спасибо! *(Шагает через площадь, кричит, обернувшись, Хури.)* Солидарность! Ни шагу с Голан! *(Уходит.)*

Хури *(недоумевая).* Псих! *(Держит путь через площадь.)*

На площади появляется Арон, идет, не торопясь, к фонтану, внимательно поглядывая в сторону сидящих Первого и Второго учеников. Не молвив ни слова, направляется к кафе, подходит к столику Иланы.

Арон *(Илане с Шимоном).* Здравствуйте! *(Илане, глядя в сторону учеников.)* Здорова?

Илана. Простудилась немного... Чего не видеть?

Арон. Много работы. Вот, взял учеников.

Илана. Зачем тебе ученики? Разве ты мало зарабатываешь?

Арон. Дело не в деньгах...

Илана *(горячо перебивая).* Нет, в деньгах! Я не слепая, Арон!..

Арон *(пробует отшутиться).* Просто мне надо оставить после себя достойную смену.

Илана *(язвительно).* „Достойную смену“! Этих, что ли, придурков? *(Меняя тон, с нежностью.)* Я все знаю, Арон! Все! *(Хватает руки Арона, страстно целует.)* Спасибо тебе!.. *(Плачет, продолжает целовать его руки.)*

Арон *(мягко высвобождая руки).* Ну, хватит... хватит... Ты мешаешь мне работать...

Илана *(размазывая ладонями слезы на щеках).* Почему ты не отвечаешь на мои звонки? Ты же снимал трубку, я слышала?..

Арон. Понимаешь, мне все время звонят по поводу ульпана... я не знаю, что ответить... Спрос превзошел все мои ожидания...

Илана. Не ври... хоть сейчас!

Арон. Мне действительно надо работать. *(Встает со стула, идет в сторону фонтана.)*

Илана *(Шимону).* Шимон, сделай мне двойной виски!

Шимон. Может, не надо, а?

Илана (*истерически*). Делай, что говорят! Тебе деньги платят!..
Еще один добрый дядюшка нашелся!..

Шимон (*копошится за прилавком*). Содовой плеснуть?

Илана. Не надо! Чего ты всегда так долго возишься, не понимаю!

Шимон выносит ей бокал с виски, Илана жадно отхлебывает. Арон подходит к сидящему возле скамейки Первому ученику, скептически смотрит на него.

Арон. Как называется то, что видят мои глаза?

Первый ученик (*волнуясь, с запинкой*). Индийский нищий-дервиш, просящий подавание на Центральном рынке... Это я нашел в книге Луи Полиана „Нищенствующий Париж“, господин учитель!

Арон. Да-а... Но ты же сидишь не на Центральном рынке Парижа, не так ли? Я, например, принял тебя за молящегося на тель-авивском газоне богатого туриста из Индии. У которого самого следует попросить по-английски полфунта... Кстати, как будет по-английски полфунта?

Первый ученик (*растерянно*). Не знаю!..

Арон. Надо знать! И по-французски тоже!.. Как твое домашнее задание? Получил двадцать шекелей на пиво от жены?

Первый ученик (*потупясь*). Нет, господин учитель...

Арон. Плохо, брат, плохо! С теорией у тебя более или менее... а практику ты у меня пока проваливаешь... (*Идет в сторону Второго ученика, останавливается от него в полуторах метрах, выразительно нюхает воздух, брезгливо морщится.*) Ты сколько раз в месяц моешься? Душ хотя бы догадался перед выходом на публику принять? (*Второй ученик, стушевываясь, молчит.*) Насчет экипировки особых замечаний у меня нет, но запах, брат... От просящего милостыню не должно пахнуть отхожим местом, заруби это себе на носу! Покупай дорогое мыло, ясно? Ты должен благоухать, как примадонна „Габимы“ на торжественном приеме в иностранном посольстве, не хуже! Подающие не выносят дурного запаха, исходящего от нищего на тротуаре... (*Через паузу.*) Как с домашним заданием? Получил от жены...

Второй ученик (*потирая синяк на щеке*). Получил, господин учитель...

Арон. Ясно. *(С озабоченным видом.)* Что-то у вас, ребята, домашнее задание не вытанцовывается? Мало работаете. А ты к тому же не ведешь конспектов на уроках.

Второй ученик. У меня хорошая память, господин учитель.

Арон. Тот-то я и вижу, что хорошая... *(Идет по направлению к кафе, садится за столик, косясь, глядит, как Илана доцеживает виски в бокале.)*

Илана *(она слегка захмелела).* Ну, мне пора! *(Встает со стула, Арону.)* Может, скажешь что-нибудь?

Арон. Что именно?

Илана *(с вызовом).* Нечего?

Арон. Вроде, нет.

Илана *(смотрит на него в упор, с болью).* Эх, ты... философ! *(Быстро идет в сторону отеля, останавливается возле Первого ученика, быстро открывает сумочку, тащит охапкой пачку банкнот, бросает ему на колени деньги, спотыкаясь на каблучках, бежит прочь с площади, исчезает.)*

Наискосок через площадь, направляясь к кафе, быстро идет Агент по рекламе, подходит к столику Арона, поднимает в знак приветствия руку.

Агент *(вполголоса, косясь на Шимона за прилавком).* Все, как мы договорились...

Арон. Говори нормально, это мой товарищ.

Агент. ...Статьи в четырех газетах... „Едиот Ахронот“...

Арон *(перебывает).* Я читал. Дальше!

Агент. Три сообщения по радио: два – в программе новостей, одно – в „Культурном калейдоскопе“...

Арон. Дальше!

Агент. Послезавтра его приглашают на телевидение... второй коммерческий канал. Интервью в „Сенсациях недели“, четыре минуты... пойдет в прямом эфире.

Арон. Хорошо. Только договорись, чтобы на интервью его пригласили с невестой.

Агент. Сделаем. Как ее зовут?

Арон. Илана.

Агент. Договорились. *(Записывает.)* И-ла-на...

Арон. Сколько с меня?

Агент. Полторы.

Арон вытаскивает из кармана чековую книжку, авторучку, заполняет чек, открывает, протягивает Агенту.

Арон. Полторы.

Агент (*прячет чек в карман*). Будь здоров! Звони, если понадобится!

Арон. Обязательно.

Агент, торопясь, идет через площадь. Со стороны отеля появляется мадам Циперович с собачкой на поводке, смотрит издали, негодуя, на Первого и Второго учеников.

Мадам Циперович. Что творится, не понимаю! С утра уже заняты все газоны... негде выгулять собаку! Идем, Соломончик! (*Дергает за поводок, идет решительно мимо Первого ученика.*)

Первый ученик при виде ее закатывает глаза, громко бормочет.

Первый ученик. Махараджа! Брамапутра! Хатха-йога!

Мадам Циперович (*возмущенно*). Что такое? Этот иностранец делает мне на площади гнусные предложения! Наглость какая! Понаехали сюда со своими хамскими обычаями... порядочной женщине страшно выйти одной на улицу!.. (*Дергает за поводок собаку, шагает в сторону Второго ученика, останавливается возле него, пылая гневом. Хватает Второго ученика за майку, тащит с газона.*) А ну-ка вон с газона! Наркоман вонючий!

Пользуясь ситуацией, Второй ученик лезет в боковой карман на юбке мадам Циперович, вытаскивает оттуда кошелек, сует в свой карман.

Мадам Циперович (*истерично*). Жулик! Он утащил мой кошелек! (*Вопит на всю площадь.*) Полиция! Полиция!

На площадь вбегает Полицейский.

Мадам Циперович (*крепко вцепившись во Второго ученика*).
Полиция! Сюда! Он утащил мой кошелек!

Подбежавший к ним Полицейский, волнуясь и неловко топчась вокруг них, по ошибке цепляет наручник на кисть мадам Циперович.

Мадам Циперович (*визжит*). Болван! Куда ты цепляешь свою цепь?

Полицейский не без труда переодевает наручники на кисть Второго ученика.

Полицейский (*мадам Циперович*). Идем с нами, госпожа! Ты должна дать показания в полицейском участке...

Полицейский, держащий на цепочке Второго ученика, и мадам Циперович, тянущая за поводок собачку, проходят мимо кафе.

Мадам Циперович (*Арону*). Как вам это нравится, Арон! Людей уже грабят среди бела дня! И это – Тель-Авив! Это – Израиль!

Арон (*проходящему мимо в наручниках Второму ученику, вполголоса*). Я же говорил тебе: веди конспект!..

Полицейский со Вторым учеником и мадам Циперович с собачкой идут мимо бассейна.

Мадам Циперович (*Полицейскому, указывая на сидящего Первого ученика*). Забери и этого, слышишь! Он приставал ко мне, делал гнусные предложения! Вот он (*тычет пальцем во Второго ученика*) – свидетель!..

Полицейский, не говоря ни слова, цепляет другой конец наручников на кисть Первого ученика, ведет обоих в сторону отеля.

С противоположной стороны площади раздается дикий вопль: «Полиция! Спасите! Хулиганы!» На площадь вылетает Хури в разодранной майке, следом за ним несутся, награждая его тумаками в спину, молодые парни.

Хури (*вопит на ходу*). Сволочи! Что вы делаете? Это не моя майка... она у меня случайно! Я болельщик тель-авивского „Мак-каби“!.. Не бейте меня!.. (*Проносится мимо кафе, добегает до лестницы, ведущей на пляж, исчезает. Парни бегут за ним следом.*)

Арон (*Шимону, вставая со стула*). Пойду, пожалуй... Знаешь, у нас на Дизенгоф намного тише. (*Уходит.*)

Картина седьмая

Знакомая площадь на берегу моря, только в новом ракурсе. Сцена как бы повернулась слева направо на одну треть. Хорошо виден многоэтажный отель с ярко освещенным центральным входом, над которым светится красочный транспарант: «Игаль Суцкевер. Выставка новых картин». Из вестибюля гостиницы доносится людское разноголосье, звучат аплодисменты. Зима. Поздний вечер. В матовом свете фонарей видно, как падает редкий снег. Арон в темном пальто и круглой шляпе прохаживается перед побелевшим от снега фонтаном. На груди у него – аккуратный транспарантик с фосфоресцирующими буквами. Возится за прилавком кафе Шимон. Площадь пересекают редкие прохожие, одни из них – под зонтиками, другие прячут головы под воротники.

Шимон (*кричит из-за прилавка, над которым витает белое облачко пара*). Арон, иди погрейся! Я поджарил каштаны!

Арон (*продолжая ходить взад-вперед*). Попозже! Я еще не замерз!..

По площади идут под ручку госпожа и господин Шапиро, подходят к Арону.

Арон. Госпожа Шапиро, рад видеть тебя в добром здравии! Ты снова выходишь на прогулки, это замечательно! Мое почтение, господин Шапиро!

Госпожа Шапиро. Большое спасибо, Арон! Ты очень любезен! Мы идем на вернисаж. Этот Суцкевер так популярен... все о нем только и говорят!..

Шапиро (*Арону*). Добрый вечер!

Госпожа Шапиро (мужу). Дай мне твой кошелек!

Шапиро (спохватывается). Ах, да... (Возится в кошельке.)

Госпожа Шапиро (мужу). Дай, пожалуйста! Я сама...

*Шапиро протягивает жене кошелек,
та выуживает из него монетку, вручает Арону.*

Арон. Целую ручку, госпожа Шапиро!

Госпожа Шапиро (всматриваясь в транспарантик у него на груди). Что это у тебя? (Читает, смеется.) Остроумно! (Мужу.) Прочти, что там написано!

Шапиро (читает). Замечательно! И на трех языках! (Берет жену под руку.) Идем, дорогая. Мы опаздываем...

*Идут к отелю, исчезают в дверях вестибюля.
Через площадь несетя мадам Циперович под огромным
зонтом, тормозит перед Ароном, торопливо лезет
в кошелек, достает монету, сует в руку Арону.*

Мадам Циперович. Арон, здравствуй!.. Я на эту выставку... не понимаю, зачем она мне нужна! Скажи, если приснился покойник, это не страшно?

Арон. Не страшно, мадам Циперович. Покойник во сне – к непогоде... (Показывает рукой на небо.)

Мадам Циперович. Ах спасибо, Арон! А то я уже подумала бог знает о чем... (Шагает к отелю, исчезает за стеклянными створками центрального входа.)

*По ступенькам со стороны пляжа на площадь
вылезает взбешенный Хури, идет к фонтану.*

Хури (Арону). Как тебе нравятся эти паразиты из муниципалитета! Я сейчас обошел все пляжи... от самого Яффо. Представляешь: ничего не делается! Работы по очистке береговой полосы даже не начались! Шайка бюрократов! Они хотят заткнуть мне рот! Они не отвечают на мои письма! Полтора месяца я не могу попасть на прием к мэру! Ну, ничего! (Потрясает кулаком.) Сегодня этот негодяй открывает выставку в отеле... какого-то

мазила, об этом сообщило телевидение. Я им устрою сейчас открытие! (*Устремляется к отелю, спохватывается – подбегает к Арону, сует ему в руку монету.*)

Арон. Спасибо, господин Хури! Ты абсолютно прав. Постарайся только, чтобы скандал получился настоящий. Маленький скандал ничего не изменит.

Хури. Насчет скандалов меня не надо учить. Они все запомнят сегодняшний вечер! (*Устремляется в сторону отеля, исчезает в дверях вестибюля.*)

У входа в отель появляется элегантно одетый Меир, смотрит некоторое время в сторону фонтана, видит сквозь снежную пелену фигуру Арона, шагает к нему.

Меир (*с легкой одышкой*). Здравствуй! Ты что, не мог переждать снег? Можно подумать, что у тебя плачут дома голодные дети!

Арон. Ты же знаешь: я работаю в любую погоду. Как вернисаж?

Меир. Обещает быть грандиозным. В „Хилтоне“ весь Тель-Авив. Меня попросили сказать несколько слов о начале его карьеры... о „Неизвестной в ванне“. Я в полной растерянности... это же – стопроцентный кич! Дешевка! А, Арон?..

Арон. Скажи, что это – картина-метафора, что ванна... олицетворение человеческой мечты о вечном покое... Или новый Ноев ковчег...

Меир. Тебе бы все комиковать! Заварил кашу, а расхлебывать должны другие...

Арон (*задумчиво*). Все идет, как надо, Меир...

Меир. Я сбегу с банкета. Давай поужинаем где-нибудь в тихом месте, хорошо?

Арон. Я должен навестить Гиви. У него при смерти отец.

Меир (*с тревогой*). Что, безнадежен?

Арон. Да, никаких надежд.

Меир. Тогда мы поедem к нему вместе, договорились?

Арон. О'кей! Иди! И скажи хорошую речь.

Меир уходит. Арон направляется к кафе.

Шимон (*из-за прилавка*). Замерз?

Арон. Немного.

Шимон. Держи! (*Протягивает ему тарелочку с горкой каштанов.*)

Арон (*взяв с тарелочки каштан, тут же принимается дуть на пальцы*). О-о, черт!

Шимон (*хохочет, довольный*). Каштан должен обжигать! Ешь, согреешься...

С дальнего края площади по направлению к кафе понуро бредет Меняла. Завидев его, Арон оставляет каштаны, идет ему навстречу.

Меняла (*подойдя к Арону*). Он – умер... (*Закрывает ладонями лицо, рыдает.*)

Арон обнимает Менялу за плечи, ведет к столикам, усаживает. Тот горько плачет, уронив голову на мраморную столешницу. Из-за прилавка выходит Шимон, усаживается рядом, гладит мокрые, в снегу, волосы Менялы.

Шимон. Ну, успокойся... хватит...

Меняла (*сквозь рыдания*). Я ничего не мог сделать... для моего дорогого отца...

Арон. Ты сделал все, что мог... мы все это знаем. (*Шимону.*) Вынеси ему чего-нибудь выпить... покрепче!

Шимон бежит за прилавок, наливает что-то в стакан, выносит.

Шимон (*Меняле*). Выпей, Гиви!.. тебе полегчает...

Меняла берет дрожащей рукой стакан, отпивает, ставит на стол.

Арон. Когда похороны?

Меняла. Завтра. В десять.

Арон. Мы все придем... (*Вынимает портмоне, отсчитывает несколько банкнот, протягивает Меняле.*) Возьми.

Меняла машинально берет деньги. Шимон бежит к кассе, вынимает кредитки, несет Меняле, сует их ему в карман.

Меняла. Спасибо... *(Бредет через площадь, исчезает в снежной пелене.)*

Арон идет на свое место у скамейки, ходит взад и вперед по аллее.

Шимон *(ему вслед).* Доел бы каштаны!

Арон. Не хочется.

Шум людских голосов со стороны гостиничного вестибюля усиливается, слышны отдельные выкрики, трель полицейского свистка. Створки стеклянных дверей распахиваются, на «пяточок» перед входом вылетают: сначала кепка Хури, а затем и сам он с наручниками на руках, толкаемый сзади Полицейским. Вплотную за ними, прильнув глазом к объективу, движется на полусогнутых ногах Оператор телевидения с видеокамерой на плече, снимающий скандальный сюжет.

Хури *(вопит).* Подонки! Вы за все ответите! Вам не удастся заткнуть мне рот! Я буду бороться до конца!..

Полицейский уводит орущего Хури. Из вестибюля выходят покурить на свежий воздух: разгоряченный, в приподнятом настроении Игаль во фраке с бутоньеркой, Шапиро и двое Посетителей выставки. Чувствуется, что все уже немного выпили.

Игаль *(закуривая, Шапиро).* Не понимаю, откуда взялся этот тип! Что он там такое доказывал мэру?

Шапиро *(весело).* Обыкновенный сумасшедший. Я его несколько раз встречал на площади. Все время за что-то борется... свихнулся на общественной почве!

Все хохочут. Оператор, медленно обходя вокруг курящих, снимает их на видеокамеру. Игаль неожиданно замечает прохаживающегося взад и вперед у скамейки Арона, идет в его сторону. Курящая компания и Оператор следуют за ним.

Игаль (*Арону, с покровительственной интонацией*). Ну, как зимний бизнес? (*Оборачивается к окружающим.*) Господа, это – мой знакомый Арон, самый знаменитый нищий в Тель-Авиве! (*Хочет, довольный.*)

Шапиро (*громко*). И мой – тоже! Посмотрите, что у него написано на табличке! (*Оттесняет в сторону Игалья, берет в руки висящий на груди у Арона фосфоресцирующий транспарант, громко зачитывает текст.*) „Прохожий! Не упусти свой шанс на богоугодный поступок!“ ...Здорово, правда? И на трех языках!

Первый и Второй посетители выставки громко аплодируют в знак одобрения. Смеющийся Игаль извлекает из бокового кармана фрака туго набитый портмоне, достает кредитку, величественно протягивает Арону.

Игаль. На, выпей за мой сегодняшний успех!

Арон берет кредитку, рассматривает ее внимательно в свете фонаря.

Игаль (*хохочет*). Не фальшивая?

Арон (*не обращая на него внимания, Оператору*). По-моему, оттуда будет лучше всего... (*Показывает ему рукой на скамейку.*)

Оператор, следуя совету, влезает на скамейку, направляет камеру на Арона и стоящего рядом Игалья.

Арон (*Оператору*). Отлично! (*Возвращает банкноту Игалю. Оператору.*) Ты готов?

Оператор (*припав глазом к объективу*). Готов...

Арон (*Игалю, тоном режиссера-постановщика на съемочной площадке*). Сейчас ты мне снова вручишь купюру, ясно? (*Бросив взгляд на Оператора.*) Давай!

Игаль застыл в оцепенении с банкнотой в руке.

Арон (*Игалю, грубо*). Давай монету, Ван-Гог!

Игаль, как во сне, машинально протягивает ему банкноту. Арон медленно, давая возможность Оператору снять, берет.

Арон (глядя в объектив и высоко держа в руке развернутую банкноту). Целых пятьдесят шекелей, господа, бедному попрошайке – неизвестно за что! (Игалю, с фальшивым надрывом в голосе.) Да возблагодарит тебя за щедрость Господь, сын мой!..

Игаль и его спутники идут к отелю.

Арон (вполголоса, уходящему последним Оператору). Эй! (Жестом подзывает его, Оператор возвращается.) Вот, возьми! (Протягивает ему банкноту.) Выпьешь за искусство...

Картина восьмая

Ночлежка Арона. Ранний вечер. К привычному убранству помещения добавился только знакомый портрет Иланы, висящий на видном месте в столовой. За накрытым свежей скатертью столом, в центре которого – светильник с еще незажженными свечами, сидит празднично одетый Меир в кипе. Пристроившиеся неподалеку на диванчике Шимон и Меняла с густой щетиной на щеках играют азартно в «шеш беш». Арон в цветастом переднике возится над плитой на кухоньке: что-то пробует, сыплет соль, добавляет специй. На кухне ему помогает Второй ученик, режущий ножом на дощечке овощи. Первый ученик снует с готовыми блюдами из кухоньки в столовую, расставляет старательно на столе тарелки. Внимательно следящий за ним Меир время от времени украдкой пробует что-то из закусок и салатов, облизывает воровато пальцы.

Арон (не оборачиваясь, Меиру). ...С рецептом этого шашлыка меня познакомили монахи, когда я путешествовал в молодые годы по Тибету. Главное в этом блюде – сочетание трав... при условии, разумеется, что не будет пережарена печенка...

Меир (заинтересованно). Любая печенка?

Арон. Боже упаси! Только говьяжья!.. (Второму ученику.) Лук режь как можно тоньше! (Меиру, продолжает.) ...Свежий лук, политый винным уксусом, крайне важен для создания необходимого равновесия между вкусом жареной печенки и самогона.

Его ни в коем случае нельзя ни переложить, ни недоложить... Тибетцы во всем решающее значение придают гармонии...

Шимон (*Меняле*). Бросай нормально! Не можешь не мухлевать, да?

Меняла. Глупости говоришь, я бросаю по правилам...

Арон (*Второму ученику*). Дай мне красный перец!

Второй ученик, торопясь, хватая перчницу, роняет ее тут же на пол, поднимает, протягивает Арону.

Арон (*Второму ученику*). Как, кстати, „дай!“ будет по-английски?

Второй ученик (*виновато*). Не знаю, господин учитель!

Арон (*убежденно*). Должен знать! И по-английски, и по-французски и по-немецки!.. „Дай!“ и еще – „Возьми!“ Это – самые главные слова на свете! Запомните оба: самые главные на свете! „Дай!“ и „Возьми!“...

Скрип деревянных ступенек вниз. Из люка показывается сильно изменившаяся Илана в дорогом пальто, модной шляпке и крокодиловой сумочке через плечо, застывает на мгновение, пристально глядя на встающего ей навстречу из-за стола Меира, на остановивших игру Шимона и Менялу, на повернувшего в ее сторону голову Арона, на обоих учеников: одного с полным блюдом в руках, другого – с большим кухонным ножом и оттого смахивающего на теорориста.

Илана (*взволнованно*). Мальчики, здравствуйте! Это – я... (*Бежит стремительно к раскрывшему ей объятия Меиру, горячо целует его.*) Меир... дорогой! Я так рада тебя видеть!.. (*Смотрит изумленно на уставившегося на нее Менялу, тихо прыскает.*) Господи, Гиви! Ты – с бородой?

Меняла (*бесстрастно*). Я ношу траур.

Илана (*в изумлении*). Траур?

Шимон. У него умер отец.

Илана (*порывисто, Меняле*). О, прости, пожалуйста! Я не знала... (*Гладит плечи сидящего Менялы.*) Прости, Гиви!.. (*Поворачивает голову, видит свой портрет на стене, смотрит на Арона, стоящего возле плиты, странно ему улыбается – устало и не-*

чально. Медленно идет в его сторону.) Здравствуй! (Кивая в сторону портрета.) Это же – реклама ванного шампуня... Зачем он тебе?

Арон. Хочу дождаться, когда он будет стоить миллион. Потом продам.

Илана (приближаясь к нему). Что у тебя сегодня на ужин?

Арон. Шашлык по-тибетски.

Илана (медленно переступая сапожками по направлению к нему). С красным вином?

Арон. К шашлыку по-тибетски подают домашний самогон. Мы будем пить венгерскую палинку.

Илана (подходя совсем близко и показывая на Второго ученика). А он меня не зарежет?

Арон. Тогда я уже не смогу взять его во второй раз на поруки... за крупный залог.

Илана (стоит рядом с Ароном). Ты рад, что я пришла?

Арон. Сними пальто, мы скоро садимся за стол.

Илана. Я – ненадолго. Мы сегодня летим в Копенгаген... ночным самолетом. У Игалья выставка... Можно, я тебя поцелую?

Арон (глядя на стоящего с открытым ртом и глядящего на них Первого ученика). Это будет не совсем педагогично...

Илана страстно обнимает его за шею, иступленно целует.

Арон. Ты выпачкаешь свое пальто... (Освобождается от объятий Иланы, та быстро идет к столу, садится в кресло, достает из сумочки сигареты, зажигалку, нервно закуривает.)

Звук автомобильного гудка внизу.

Илана вздрагивает в кресле.

Арон (кричит из кухоньки). Меир, сколько там еще осталось времени до шабата?

Меир (глядя на часы). Минут десять-двенадцать!

Илана (Меиру). Налей мне чего-нибудь выпить!

Меир наливает ей в бокал из квадратной бутылки.

Илана (*встав с кресла с поднятым бокалом*). За вас, мальчики!
(*Залпом выпивает.*)

Продолжительный и настойчивый звук автомобильного гудка внизу. Арон несет на подносе шашлыки.

Арон (*громко*). Освободите мне место!

Шимон и Меняла, торопясь, раздвигают в сторону посуду. Арон торжественно водружает на стол дымящееся блюдо.

Илана (*громко*). Мне – пора!

Меир (*в изумлении*). Ты разве не ужинаешь с нами?

Илана. Меня ждет внизу Игаль... у нас ночной самолет...

Шимон. Возьми хотя бы палочку шашлыка!

Илана. Мне – пора... (*Выходит из-за стола, с болью, с нежностью, со смятением обводит взглядом ночлежку.*) Прощайте, мальчики!.. (*Идет к выходу, рыдания сотрясают ее плечи. Медленно спускается по ступенькам люка, исчезает.*)

Арон (*растроенному Шимону*). Посмотри в окно! Звезды уже показались?

Шимон бежит к слуховому окну, прижимается лицом к стеклу, взглядывается в темноту.

Шимон (*вернувшись к столу*). Ничего не видно, сплошные тучи...

Арон. Ладно, начнем. А то шашлык остынет. (*Меняле.*) Гиви, зажигай свечи! Будешь у нас сегодня за женщину. (*Улыбается сидящим за столом сотрапезникам. Неожиданно – Второму ученику.*) Как будет женщина по-английски?

Второй ученик (*быстро*). Гёрла, господин учитель!

Арон (*смеется*). Ладно. Гёрла так гёрла. Будем веселиться!

Шимон (*в пространстве*). На женщин мне всегда не везло...

Меир. Господа, шашлык стынет!

Арон (*Меняле*). Гиви, зажигай свечи!

Меняла возжигает одну за другой свечи в подсвечнике.

Меир. Внимание, господа...

Арон (*поднявшись с кресла и приложив к лицу ладони*). Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который благословил нас своими заповедями и повелел нам зажигать субботние свечи!

Присутствующие (*нестройным хором*). А-аминь!

Занавес.

Олег Юрьев

ФРАНКФУРТСКИЙ БЫК

шестиугольная книга

Афины – Франкфурт – Москва, 1996

Изд-во бр. Захариади, 150 стр.

Новая книга петербургского поэта, драматурга и прозаика выходит почти одновременно по-русски и по-немецки. Его пьесы ставились и публиковались в Германии, Чехии и Польше.

«Чего больше в связи с окружающим миром: порядка и смысла или ужаса и абсурда – искусство призвано и обречено вечно ставить этот вопрос и давать на него множество несовместимых ответов. Это и происходит на страницах «Франкфуртского быка» – чья красота и новизна могли бы обогатить русскую прозу.»
(Панорама, Лос-Анжелес)

«Проза Юрьева, дерзко перегоняющая сюжет в сюрреально-абсурдные сцены, достигает виртуозности и самобытности.»
(Нойе Цюрхер Цайтунг, Цюрих)

Книгу можно получить почтой через зарубежного представителя издательства по адресу:

**D. Zah, Breslauer Strasse 22,
D-60598 Frankfurt am Main, B.R.D.**

Цена включает пересылку: 10 амер. долларов или 15 нем. марок.
Оплата чеком или наличными.

Михаил Генделев

КАФЕ «ИПРИТ»

ДОКТОР ЛЕТО

Е. Г.

Вот мы и дотанцевались
доктор Лето
доктор Лето
в польку-бабочку с музычкой инвалидной полковой
как нелепо как нелепо
так нелепо
как
еврей на Первой Мировой
меж сердцебиениями влезла
ленты строчек лето перезаряжает тишины
залегла в цветах акации цикада митральеза
небольшой
цикада
все же
а войны.

Доктор Лето доктор Лето доктор Лето доктор Лето
доктор автор бюллетеней стратегических потерь
в черных дырках от оправы
стекол нет

и

ничего не отражается теперь

вы из плена
доктор
вы из тлена
что еще
ответьте доктор
полевой какой тоски
что еще за кукла-бабочка по имени Елена
гусеница
механической руки.
Доктор Лето
мы наденем это тело снова
или
или в щели сквозняка я чтобы
сам собой
возник
войны-сестры явно рано овдовели
умираю по горбатенькой из них
вышивает ведь не по железу
по зеленому брезенту предсказания свои
насекомый пулеметик черношвейка митральеза
небольшой
цикада
все же
а любви.
Доктор Лето
сердце это или это канонада
это наших глаз секрет или уже горчичный газ
георгинов августейших посылаю
с клумбы ада
с нарочным
от имени всех нас
вам
на имя незнакомое Елена
авиатор этот чертов вот досада адрес стер
но букеты
но букеты
георгинов непременно

каждой
вдовствующей из сестер.
Доктор Лето доктор Лето доктор Лето доктор Лето
лето с гусеницей доктор механической руки
мне
Елена
написать велела
что-нибудь
на память
как
стихи
„Но извольте, чтобы подписи не надо,
но позвольте - дату, милый, чтоб поставила сама“
смерть цитата смерть цитата смерть цитата смерть цитата
из
по памяти
любезного письма.

СЕНТЯБРЬ ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРОГО ГОДА

Господь наш не смотрит на землю
не
интересно Ему
как
корчится медленно зелень
в бесцветном на солнце дыму
и танки неторопливо
спускаются в тяге тупой
в спокойном размеренном ритме молитвы
к заливу
как на
водопой

наш Господи-Боже наверно
он
слепо-и-глупо

немой
десант одуванчик по ветру
влечется на небо домой
влечется влечется
от даже
земли
от сводящих с ума
земли нашей лунной батальных пейзажей
особенно если с холма
о Господи
что тебе снится
покуда
углем от руки
я
заполняю страницу
все бабочки да мотыльки
и все о любви да бессмертье
а
не про гибель и смерть
и чернобагровая бабочка сердца
мерцает готова лететь.

декабрь 95

* * *

Не
перевернется страница
а
с мясом вырвется
„ах!“
в мгновенном бою на границе
у белого дня на глазах
с прищуром тем более узким
чем пристальнее устремлен
Господь наш

Господь наш не знает по-русски
и русских не помнит имен.

сентябрь 82

ЭПИТАЛАМА

Я
помнится был женат
да и разве я возражал

я был женат на тебе война
чего безусловно
жаль

ты конечно была в меня влюблена
времена еще были
те

я
был женат на тебе
война

мы
забыли
убить детей.

Я был женат на тебе война
я тебе
покупал белье

красивая
у меня жена
не то что сестра ее

а
были
отличными:

выпивка
компания
лазарет

ревновала меня идиотка
а я ее
нет.

Ты
мне
носила цветы

и
бинтовал их
я

а что меня ревновала ты
оно
природа твоя

как я ушел от тебя война
это
еще вопрос

ты просто живешь без меня одна
мы просто живем
врозь.

Ты мне плюхаешься
в каждой
тьме на постель

думаю
ты не в своем уме
мы забыли убить детей

а помнишь сама призвала причем
за
рукав утяня

ну
юный армейский лекарь еще
Михаилом звали меня.

ОРАНИЕНБАУМ

В Садах Железных Апельсинов
в Садах Аллаха
у встречной гибели мы как пройти спросили
Да шли б вы на...
а правда мы на бис и браво
как рисково
пошли красиво
оскома правда и отрава
от
ваших апельсинов

В Садах Железных Апельсинов
от каждой пули слева
равны примерно и отличны перспективы
на память и на славу
но мы
бессмертны
уходили от пуль танцуя
примерно вправо
но мы себе не находили
ни памяти ни славы
и я пзошу вас не повезьте
зай пули с краю
никто вам не сулил блаженной легкой смерти
ну а про жизнь вообще наврала
мы
кислоту во рту месили
полусонно
с черным эхом
в Садах железных апельсинов
в ночных Садах Аллаха.

И вот я снюсь себе живой и сильный
как снился бы чужому сыну
что я с лицом войны иду под небом темно-синим
через Сады Железных Апельсинов
в аллеях лунных ужаса и страха
в своем мундире драном

и

то ли звезды там смердят то ли в прорехах
оранжевых деревьев
зияют раны.

Айда

в Сады Железных Апельсинов
ялла! встали
туда где лезут борозды от сока по щетине
проказа на металле
ах нагулялись мы красиво
и спасибо
я повторяю
в Садах Железных Апельсинов
бессмертья с краю.

ТАНГО ЦВЕТОВ

Х. Г.

Пылает роза-2
она
дымится
зло
цикламены
цепляются за высоту
о
одуванчик
бригаде в солнце не вместиться
пушинки грохота и золота пыльцу
роняя на
лету.

В воронке розы-2
оп-па
цыпленок жареный
горючий
тяжкий
розы
аромат
пошел за окоем
одуванчик
в квадрат-12 золотых шаров
я вызываю одуванчик вашу мать
прием.

Огромный этот сад
какие наши клумбы
с тюльпаном за ухом и
с цикламенами во рту
здесь
не иначе
как ангелы танцуют „Танго
Цветов“
оп-па
и золота пыльцу
роняют
на лету.

У нас
у райских птиц
права куриные
конец приема
цыц
играем и поем
но
одуванчик
где одуванчик херувимы
в квадрат-12 одуванчик
поворот
прием.

Ицхак Орен

ОСТРОЕ СЛОВО И ОСТРЫЙ НОЖ

I

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

Эти несколько строк взяты из стихотворения Есенина, которое я однажды перевел на иврит. С юных лет появилась у меня забава переводить русские стихи на наш древний язык. Пусть иногда я и знал, что то или иное стихотворение уже переведено кем-то, может, и лучше, чем получалось у меня: какой спрос с забавы.

Впрочем, слово „забава“ едва ли уместно.

Меня потянуло перевести именно эти строчки, когда я прочитал в газете сообщение о том, что Мишаэля Китана пырнули ножом в Старом городе по дороге к Стене Плача. Это был душевный позыв. Неужто его вызвала сомнительная аналогия двух ножей? Один, каким „сadanули под сердце“ сына, существовал лишь в тягостном предчувствии старой матери, второй – араб действительно всадил его в спину Мишаэля Китана, шедшего к Западной стене. Есть ли тут вообще аналогия? Короткая, но запутанная история жизни поэта оборвалась его собственным ножом: Есенин, как известно, перерезал лезвием вены на руках и кровью написал свое последнее патетическое стихотворение. Его завершающие строчки: „В этой жизни умирать не ново, Но и жить, конечно, не новей“.

В сообщении о ножевых ранах Мишаэля отмечалось, что жизни его не угрожает опасность. Больше я о нем ничего не слышал, хоть и миновало уже с тех пор довольно времени. По правде говоря, еще и до этой истории бывало так, что между нашими встречами проходило по несколько лет, когда я его не видел.

Впервые мы встретились в 1937 году на ремонтных работах в Иерусалиме. Мэром был тогда некто из семьи Нашашиби, представлявшей сливки арабского общества, а его заместителем, представлявшим еврейскую сторону, был Даниэль Остер. После беспорядков 37-го года Остеру удалось добиться большого успеха: муниципалитет согласился нанимать рабочих-евреев для дорожных работ в еврейских кварталах Иерусалима. Следствием этого явилось ничуть не меньшее достижение профсоюза студентов: договор гарантировал рабочие места для членов профсоюза. Я и Мишаэль стали первыми, кому довелось пожать плоды этого урегулирования. Мы познакомились в первый же рабочий день в Бухарском квартале. В полуденный перерыв уселись рядышком на тротуар, прижавшись спинами к стене дома, давшей нам полоску тени. Оба извлекли из сумок одну и ту же еду: полбатона хлеба, кусок рыбы крутого засола и три (именно три) огурца. Достаточно было задать друг другу вопрос, каким обменивались тогда при знакомстве студенты: откуда ты? Услышав, что я родился в Сибири и вырос в Китае, он принялся расспрашивать меня о монголах, татарах и китайцах. Он делал это так, словно пытался вычерпать из моих глубин

даже и ту информацию, какой у меня не было. Я очень мало и поверхностно знал об этих народах и не скрыл от него своего невежества. По его вопросам я понял, что он-то знает о них куда больше. Мишаэль не оставлял темы все время, пока мы ели. Задавал вопрос, чуточку ждал моего ответа и, не дождав-шись, сам отвечал, со знанием дела и энтузиазмом.

– Ты все это узнал из книг? – спросил я.

– Откуда же еще?

– Из путешествий, например.

– До сих пор я жил только в двух странах: в Польше и в Эрец Исраэль.

Еда кончилась. Мишаэль взял закрытый глиняный кувшинчик с водой, который, видно, с утра еще припрятал в углублении стены, и передал мне. Кувшин запотел – вода была холодная. Я к тому времени уже научился направлять воду из этих арабских кувшинов с приличного расстояния прямо в горло, и пока я наслаждался бодрящей душу струйкой, мой новый приятель объявил:

– Еще поговорим.

И действительно, мы немало поговорили тогда, в 1937-м, за месяцы ремонтных работ на иерусалимских мостовых. Было ясно, что его интерес ко мне вызван экзотичностью моей биографии, и он пока еще не отчаялся выжать из меня что-нибудь для своего пытливого ума. Я был покорен широтой его познаний, необычностью, даже некоторой чудаковатостью его облика и той возвышенностью духа, какую излучала его личность, вся сотканная из противоречий и неожиданных переходов.

Он носил короткие штаны защитного цвета и голубую рубашку, зашнурованную спереди красным шнуром, – одежду, которая в те дни свидетельствовала о принадлежности к крайне левому течению в сионизме. Однако его поведение и интересы, несомненно, выходили за рамки, принятые в его кругах. Те, кто составлял там большинство, видели в физическом труде вызов, предназначение, путь, на котором только и можно воплотить пророчества о возрождении народа и страны и построить новое общество. А Мишаэль заявлял, что ремонтирует дороги, чтобы прокормиться, и демонстрировал пренебрежение к высокому смыслу и существу труда, избегая затраты лишних усилий. Когда я указал ему на противоречие между его обязывающей одеждой и манерой поведения, Мишаэль похлопал меня по плечу и сказал:

– Боже тебя упаси, Ицхак, разбазарить свои силы на мотыге. Истинная работа – это священнодействие, иначе говоря, труд духовный. Маркс ни разу в своей жизни не взял в руки мотыгу, потому что Учение поглощает все силы человека.

На следующий день, едва объявили перерыв в работе, Мишаэль вытащил из кармана штанов мятый, в пятнах, клочок бумаги и прочитал мне то, что там было написано старательным, четким почерком, словно на уроке чистописания:

„Половые сношения, обсуждаемые в Торе, устанавливаются каждому человеку по его силам и по труду его. Как это понимать? Для людей здоровых, тучных и изнеженных, у которых нет изнуряющей работы, которые сидят в домах своих, пьют и едят, их мера половых сношений – каждую ночь. Для трудящихся, например портных, ткачей, строителей и им подобных, коль скоро работают они в городе, их мера половых сношений – два раза в неделю... Для ученых же мера половых сношений – один раз в неделю, ибо овладение святым Учением истощает их, и мера утех любовных для ученых людей – один раз на неделе.“

– Откуда ты это списал? – спросил я.

– Из „Мощной десницы“ Моймонида: „Установления супружеской жизни“, глава четырнадцатая.

– Маркс, по-твоему, относится к ученым?

– Конечно.

– Тогда знай, что он вел себя, как предписано ученым, только с собственной женой. А поскольку это, видно, его не удовлетворяло, добавил себе еще ночку на неделе, может и не одну – со служанкой, которая даже родила ему не то сына, не то дочь, не помню точно. Возможно, правда, что он повысил себе недельную норму из солидарности с рабочим классом, „коль скоро работают они в городе“, чья мера соития дважды на неделе...

Мой цинизм явно задел его. Сверкавшие его глаза погасли, на лицо легла серая маска. Мишаэль смял в кулаке свою записку и швырнул ее в жестянку, куда выбрасывали объедки. Я напряженно ждал взрыва. Но он не тронулся с места и ни слова не сказал. Тогда я сам прервал грозное молчание:

– Что ты изучаешь в Университете? – спросил я.

– Философию, Каббалу и раввинистическую литературу.

– Именно раввинистическую?

– Именно, ее самую. Ведь раввины умудрились задолго до

Гегеля поставить неистребимую печать Духа на плоть Материи и задолго до Маркса вогнать столько Материи в Дух, чтобы тот не испарился и не растворился в космосе.

Тут уж я не смог удержаться. Разразился смехом. Однако на этот раз Мишаэль не был уязвлен. Наоборот, он тоже улыбнулся:

– Не думай, что ты первый надо мной смеешься. На лекциях, особенно на семинаре, все надо мной смеются. Как я говорю и что высказываю. Вот только профессор слушает меня с абсолютным вниманием, и лицо у него серьезное. Слушает и молчит. Впрочем, может, просто потому, что этот „екки“ должен дважды услышать каждое слово на иврите, чтобы смысл сказанного до него дошел.

– Ты получаешь удовольствие от занятий?

– Не такое уж большое. Я предпочел бы заниматься ессеями, исследовать их коммуны, обычаи, верования, но в Университете нет кафедры истории периода Второго Храма и, насколько я знаю, почти нет других документальных материалов о ессеях, кроме того, что написал Иосиф Флавий.

Этот разговор происходил лет за десять до того, как были найдены Свитки Мертвого моря. Мишаэль продолжал:

– В сущности, я хотел бы парить в пространстве и времени, погружаться в бездны цивилизаций, древних и новых, на всех материках, во все эры и эпохи, вплоть до наших дней. У нас всегда были и будут ессеи, надо их только опознать: в Каббале, в хасидизме – и до и после ессеев, в этой стране и в этот час.

– Ну, и кто же, по-твоему, эти ессеи „в этой стране и в этот час?“

– Кибуцы „Хашомер Хацаир“.

Перерыв кончился, и беседа наша больше не возобновилась. Три месяца продолжались дорожные работы. Мы работали бок о бок и сидели рядышком в часы полуденных перерывов, но на вечные вопросы и на мировые проблемы уже не замахивались: сил хватало только на нижние этажи бытия. Да и в случайных встречах на улице или в Университете мы отделялись кратким приветствием. Однако во мне не угасало желание познакомиться с ним ближе, а по тому, как сияли его глаза, устремленные на меня всякий раз, когда мы случайно натыкались друг на друга, я мог понять, что и он не прочь быть откровеннее. Однако

каждый из нас, как видно, не смог преодолеть некое подсознательное торможение, помешавшее нам по-настоящему сблизиться.

Время шло, и он исчез из поля моего зрения надолго, лет на двадцать, если не больше. Мне исполнилось сорок пять, я заболел, а когда немного поправился, врач предписал мне совершать длительные пешие прогулки. Вот я и положил себе за правило ходить на работу пешком. Вставал рано утром, выходил из дому в районе Раско и почти час шагал в Долине Креста, тропинками по холмам, до промышленного района в Ромеме. В этих местах тогда еще не проложили настоящих дорог, даже в легком намеке не существовал нынешний жилой массив имени Вольфсона, и мне негде было присесть и отдохнуть на всем пути до барачков, где тогда помещалось министерство иностранных дел. Случалось, что, добравшись до этого квартала, я опускался на первую же скамейку, а иной раз, миновав ее, шел прямо к конечной цели – все зависело от того, сколько сил у меня оставалось и какая стояла погода. В тот день Творец Вселенной одарил свой святой город таким прохладным сверкающе-ясным летним утром, какими благословен только Иерусалим, да и то лишь в отмеренной малой дозе. Что поделаешь, Ноэми Шемер своей песней о Золотом Иерусалиме прикончила все дальнейшие попытки описать такое утро словами. Просто могу подтвердить: горный воздух в это утро действительно был „чист и прозрачен, как вино, а запах сосен“, вливаясь в легкие, служил эрзацем необходимой неги для души того, кто, выкуривая тридцать лет жизни по пятьдесят папирос в сутки, в один прекрасный день единым махом отсек свою порочную страсть, но не перестал отдаваться ей во сне по ночам.

Приближаясь к цели, я еще издали увидел, что кто-то сидит на скамейке, где я привык отдыхать. У меня не было ни малейшего желания столкнуться с каким-нибудь досужим пенсионером, раненко вышедшим на улицу, чтобы побеседовать с рассветом, после того как сон сбежал от него ночью. Небось, думал я, подстерегает собеседника. Так и ухватит разговор о последних новостях, только что выловленных из утренней радио-передачи. Я решил не отдыхать и продолжал путь, как вдруг со стороны скамейки услышал свое имя. Повернувшись, увидел, что „пенсионер“ машет мне рукой. По близорукости я не разобрал лица и, поскольку мои опасения относительно пенсионера не рассея-

лись, продолжал удаляться. Он, однако, вскочил и побежал следом:

– Ицхак, Ицхак, куда ты?

Я шел в том же темпе. Только когда человек настиг меня и похлопал по плечу тем самым жестом, какой запомнился мне со времен наших дорожных работ, я повернулся и вдруг узнал Мишаэля.

Я и сам удивился своей радости. Он остался тем же – нисколько не изменился. И одевался так же: шорты защитного цвета и голубая рубашка, правда, красный шнур исчез. Было еще одно изменение, которое я не сразу заметил: в дорожные времена он всегда ходил с непокрытой головой. Пышная шевелюра надежно защищала его голову от солнца даже в самую палящую жару. А вот сейчас что-то вроде тряпичной шапки было нахлобучено на голову, закрывая лоб. И только потом, когда он во время разговора снял эту шапку, чтобы утереть пот, я увидел, что голова его начисто выбрита. Блеск в его глазах не исчез. Мы обнялись. Едва ли не расцеловались. Он проводил меня к месту службы, а поскольку до начала рабочего дня еще оставалось время – пошли побеседовать в соседний садик. Он рассказал мне, что странствовал по всему свету в поисках десяти исчезнувших колен Израилевых („Не столько этих десяти колен, сколько заброшенных и позабытых еврейских общин, вроде тех, что описаны у Агнона в „Идо и Эйнам“). Общин этих он не нашёл, но во время пребывания в Японии немножко приобщился к основам дзен-буддизма и овладел системой личной самозащиты, название которой он тут же сказал, но оно выпало из моей памяти. Я помалкивал. Он, однако, счел нужным произнести пылкую речь в свое оправдание и подчеркнуть различие между этой своей системой и джиу-джитсу. Из его слов вытекало, что цель джиу-джитсу – сразить нападающего, сломить его, победить, а вот цель системы, в которой он подвизается, – расслабить, размагнитить свою собственную личность, истончить ее едва ли не до полного исчезновения, и тогда битва, сражение с тобой перестанет быть стимулом и вызовом для злоумышленника. Он утратит интерес к тому, чтобы сокрушить тебя, и отпустит с миром. Он, Мишаэль, зарабатывает себе на жизнь, давая уроки по этой системе. Утром бродит в горах Иерусалима и Иудеи по меньшей мере часа три ежедневно, а по ночам работает над обширным комментарием к книге „Огни святости“ рава Кука.

Этот великий мистик полагает, что код теории эволюции, в глубоко засекреченном тонком намеке, уже содержится в Учении Моисея: ведь оно, по существу своих начал, рассматривает Вселенную как эволюционирующее бытие, которое в развитии своем движется к абсолютному совершенству.

Мы договорились встречаться по утрам, но договоренность эта не реализовалась. Может быть, потому, что я всегда ходил одним и тем же путем, а он каждый раз бродил в иных и новых местах, питая взор видами природы, насыщая слух ее голосами, вдыхая улаждающие запахи, открывая скрытое в каждой летающей птахе, в каждом дереве и его тени, в каждом горящем кусте и в каждой ползучей твари. А чтобы парализовать врагов, замысливших недоброе против всего этого, он, может быть, готовился поделиться своей тайной расслабления и даже самонагнигания.

II

На этот раз перерыв оказался значительно короче. Только пять лет прошло после описанной выше встречи до того дня, когда в самом сердце улицы Яффо преградил мне дорогу еврей в черной шляпе котелком, но с широкими полями. Длинные завитые пейсы свисали по обеим сторонам лица, густая седая борода закрывала почти все лицо.

– Ты не узнаешь меня?

– Нет, – ответил я.

– Мишаэль.

Действительно, мишаэлевским сиянием блеснули его глаза.

– Правильно, Мишаэль, – вырвалось у меня.

Я предложил зайти в кафе. Он отказался. Может, не был уверен: самой ли строгой из всех строжайших кошерностей это заведение. уселись на скамейке около автобусной остановки.

– Все продолжаешь проповедовать и поучать во Израиле?

Он предпочел не услышать иронии в моем вопросе.

– Да, действительно, я теперь учу, преподаю по-настоящему, а живу в Иудее, в одном из поселений.

– В каком именно?

Он не ответил, но догадаться было нетрудно: всего-то насчитывалось тогда четыре-пять поселений.

– Каковы же там твои деяния?

– Днем я глава ешивы, а ночью сторож.

– Так у вас принято?

– Не обязательно. „Отвечает сторож: приближается утро, но еще ночь. Если вы действительно спрашиваете, то обратитесь и приходите“.

– К чему ты привел это пророчество Исаяи? „Кричат мне с Сеира: Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи? Отвечает...“

– А к тому привел, что в нашем контексте это означает: если ты действительно спрашиваешь, где я живу, то пообещай сначала, что придешь навестить, тогда я открою тебе, где это место.

Я ничего ему не обещал и по сей день не знаю, где именно он тогда жил. Мне суждена была еще одна встреча с Мишаэлем, и я собираюсь подробно описать ее. Но сейчас я чувствую себя обязанным отложить эту тему и, покаявшись во всех отступлениях, вернуться к вопросу, поставленному в самом начале: что побудило меня начать рассказ со стихотворения Есенина? Неужели все дело в ассоциации, вдруг мелькнувшей при известии, что Мишаэля пырнули ножом?

По правде говоря, я намеревался писать другое эссе – о ножах как о метафоре, в плане многозначного поэтического, если хотите, образа. Например, о том ноже, который, по словам командующего военно-воздушным флотом Израиля, „вонзил в спину“ нашей авиации один из видных ее чинов – бригадный генерал. Этот великий чин назначен был ведать военным снабжением и оснащением авиации, но снабжал себя самого, беря миллионные взятки. Ведь „финский нож“, каким „саданули“ поэта, был тоже метафорическим – образ, порожденный тягостными предчувствиями матери. Однако вполне реальным было то лезвие, каким сам поэт перерезал себе вены. – Не устарел ли этот сюжет? Не устарело ли сопоставление, вынесенное у меня в заголовок: „Острое слово и острый нож“? Может быть, следовало подчеркнуть: слово *и* нож, слово *как* нож – резкое, режущее, убивающее слово? И, может, лучше было бы озавлать этот рассказ так: „О поэтах и ножах“, хотя в данную минуту не могу припомнить еще хотя бы одного поэта, избравшего орудием самоубийства острое лезвие. Маяковский пустил себе пулю в лоб. Оба русских классика: Пушкин и Лермонтов – погибли на дуэлях не от шпига, а от пистолета. У евреев же – глава плéяды средневековых поэтов Иегуда Галеви был насмерть

заколот у Стены Плача. Долгое время, опираясь на документы Каирской генизы, исследователи полагали, что Иеуда был первым в еврейской истории „отсевшимся“ – уклонившимся от алии, что он не достиг берегов Эрец Исраэль. И умер в Египте, исчерпав все те приятные возможности, какие предоставило ему гостеприимство главы богатой общины египетских евреев. Хорошо, что распространенная нынче мода сокрушать мифы в конце концов обращается сама против себя: в последнее время из той же генизы прибыл документ, доказавший, что Иеуда Галеви взошел-таки на борт корабля, направлявшегося из Египта к Земле Израиля. Правда, с того момента пропали его следы, но этот факт лишь подтверждает легенду о гибели Галеви от ножа фанатика-мусульманина или от копья одного из крестоносцев.

Шмуэль Йосеф Агнон в своем рассказе „Кинжал“ (опубликованном, насколько я помню, только после его смерти) пишет о дочери рабби Иегуды Галеви, Рахили. Она пришла к нему, рассказчику, „из далей земных.., из мест таких, где свет зари иной и нам неведом“, и сказала: „Отец мой умер, но я не знала, когда он умер. Может быть, вы узнаете день его смерти“ Спустя малое время, – продолжает рассказчик, – шел он к Стене Плача, будучи все еще взволнован и растревожен этим вопросом дочери Иегуды Галеви. По дороге пригласили его зайти в лавку древностей, он вошел и увидел висящий на стене кинжал, „подобный тем, какие хранятся в музеях Западных стран, – где такими кинжалами убивали наших отцов“. Он купил кинжал и принес домой. Кинжал ему признался, что именно он, этот кинжал, убил поэта, и с тех пор рассказчик не знал покоя. Кинжал заворожил его странными угрозами и объявил, что не смягчится до тех пор, пока не исполнится пророчество Исаяи о наступлении времен, когда „народы и многие племена перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать“. Рассказчику ничего не оставалось, кроме как похоронить это острое оружие – нож – в своем цветущем саду. Кинжал уложили в землю, закопали, и он перестал отгонять сон от хозяев. Однако что-то случилось с самой землей: она стала превращаться в бесплодную пустошь, так что осталось лишь несколько ростков, да и те увядали один за другим. „Однако я не потерял надежды, – заканчивает Агнон свой рассказ, – я не успокоился и не дал

себе ни минуты отдыха. Каждый день, во всякое время и всякий час, расхаживаю я по саду и с помощью орала своего разрыхляю землю – немного тут и немного там, и даже ночью не бездельничаю. Из-за работы моей отложил я книги и только садовничаю. Мне кажется, что, вроде бы, вижу я перемену к лучшему. И возможно, что в особый какой-то день я одолею бесплодие пустоши. И вдвойне тешит меня мысль, что поднимется и расцветет сад... и даже, может быть, даст плод земли своей, и плоды эти я принесу нежной Рахили, дочери рабби Иегуды Галеви. Другие разводят цветы, а я не цветы принесу тебе, но плоды. Те с цветами, а я с плодом“.

Я не стану вникать в метафорическую, аллегорическую и символическую суть приведенного рассказа: как и Агнон, оставляю это занятие читателю, только напомню ему предостережение Иегуды Галеви, который сказал: „Не соблазняйся мудростию греческой, ибо не приносит она плодов, но лишь цветы“.

Во всяком случае опять мы находим связь между творящими в слове – поэтом, писателем – и ножом, а может быть, и всякий творец связан с режущим лезвием? Разве не кремневый нож был первым в истории ручным пособием для древнейших творцов, и, если я не ошибаюсь, он даже предшествовал гончарному кругу, а самые первые в мире слова, удостоенные записи, были высечены на камне все тем же кремневым ножом. Вот так и меня самого соблазняет сейчас греческая мудрость обсудить те случаи в истории или литературе, когда вполне реальный нож выступает в теснейшей связи с судьбами вождей и царей, вельмож и принцев, – например, Юлий Цезарь восклицает: „И ты, Брут!“, словно пренебрегая клинком, уже воткнутому ему в спину (или в грудь?), или, вот, принц Гамлет, уже поверженный мечом, все же успеваает задать свой последний вопрос: „Кто приближается при звуках труб? Что за пальба вдали?“

Завершить эту главу я хочу словом о ножах, глубоко всаженных в почву иудаизма, не о поэтах и писателях, но о мудрецах Талмуда, первых амораях: рабби Иоханане (бен Напах) и рабби Шимоне бен Лакише (Реш Лакиш). Вот что рассказывается в Агаде („Бава мециа“) о произошедшем с этими двумя.

«Однажды купался рабби Иоханан в Иордане. Увидел его Реш Лакиш (заметим в скобках: был это глава шайки разбойников, человек, одаренный физической мощью, настоящий великан) и прыгнул следом за ним в воду. Сказал ему рабби Иоханан:

„Сила твоя – для Торы“. Ответил Реш Лакиш: „Красота твоя – для женщин!“ Сказал рабби Иоханан: „Если уйдешь от разбоя и обратишься к Торе, выдам за тебя сестру мою, которая красивее меня“. Принял это на себя Реш Лакиш. Обратилась вся сила его к Торе. Учил его рабби Иоханан Письменному Закону и Устному, и стал Реш Лакиш великим человеком.

Однажды в школе разошлись мудрецы во мнениях: с какого момента могут оскверниться нож, копье и серп?

– Как только они изготовлены.

– С какого же момента считать их изготовленными?

Рабби Иоханан сказал: когда скуют их на наковальне, а Реш Лакиш сказал: когда закалят их в воде. Сказал тогда рабби Иоханан Реш Лакишу: „Разбойнику ли не знать орудий разбоя“. Ответил Реш Лакиш: „Какую пользу ты мне принес? Там называли меня паханом, и тут теперь так называют...“ Пал духом рабби Иоханан, заболел Реш Лакиш... и умер. Очень горевал о нем рабби Иоханан. И не приходил в дом собраний. Сказали мудрецы: „Кто пойдет его утешить?“ Пошел рабби Элеазар бен-Пдат, чьи суждения остры как нож. Пришел он и сел напротив.

Что бы ни говорил рабби Иоханан – во всем поддакивал ему Элеазар бен-Пдат. Сказал ему рабби Иоханан: „Разве подобен ты Реш Лакишу? Реш Лакиш, стоило мне слово сказать, тут же находил в сказанном противоречия, и приводил двадцать четыре возражения, и сейчас же улаживал эти противоречия, давая двадцать четыре ответа на возражения, и суждение ширилось внутренней своей силой. А ты мне поддакиваешь, будто я сам не знаю, что я хорошо сказал“. Встал рабби Иоханан, разодрал одежды свои, зарыдал и крикнул: „Где ты, Реш Лакиш!“ Кричал он все сильнее, пока не помешался. Просили мудрецы Пресвятого сжалиться над ним, и он умер!»

Происшедшее с двумя мудрецами таит в себе нечто удивительно волнующее и живое доныне, и жаль, что нет поэтического произведения на этом материале. Сила в противостоянии красоте, духовное в противоборстве с материальным, да и еще многое: например, непозволительный удар ниже пояса, нанесенный в пылу спора рабби Иохананом Реш Лакишу, когда он напомнил бывшему разбойнику его прошлое; или саркастический ответ Реш Лакиша, – ведь он прикрывал смертельную обиду, ставшую причиной столь угнетенного душевного состояния, что оно сокрушило мощного человека, способного силой ума и

знаний своих, по выражению Талмуда, „горы сворачивать и перемалывать, перетирать их друг о дружку“. И рабби Иоханан, который провинился, обмолвившись, а увидев тяжкие последствия своих слов, так горячо раскаивался, что впал в меланхолию и умер в трагическом помешательстве. И сверх всего: потребность истинного мыслителя в достойном оппоненте, ибо без него не может состояться тот интеллектуальный „турнир“, который как раз и является источником жизни и силы Талмуда, – да, этот источник именно в силе интеллекта, а вне его – скверна всякого рода ножей, пусть в данном случае раздор и вспыхнул спустя сто тридцать лет после разрушения Храма, когда большая часть законов о ритуальной чистоте была отменена. „Метафорические“ ножи, о которых сейчас шла речь, обладали тогда реальной силой: они могли убить человека в том созданном духом и интеллектом нематериальном царстве, в каком еврейский народ существует уже почти две тысячи лет. Для народа это царство духа было куда большей реальностью, чем конкретная действительность, что его окружала.

И отсюда – к последнему ножу в нашем эссе: воображаемый нож в причудливом воображаемом царстве, куда нам не попасть, если не вернуться к нашему приятелю Мишаэлю, который поражен был ножом в спину на пути своем к Стене Плача.

III

Не помню, сколько лет прошло после описанной встречи до того дня, когда Мишаэль, опять подобно буре, ворвался в мой дом: одежда его – облачение богобоязненного еврея – заляпана грязью, полы лапсердака разлетаются в стороны, рубашка, забывшая, что когда-то была белой, порется по швам, в клоках бороды, почему-то пожелтевшей, запутались странные колючки, видно, из мест его обитания на иудейском холме, а шляпа... похоже, по ней проехался мотоцикл. К тому же от него несло какой-то воню... Больше всего изменился его взгляд. Вместо прежнего сияния в глазах пылал отнюдь не священный, а тот самый „чуждый огонь“, о котором мне доводилось читать только в одной из глав Пятикнижия. Мишаэль озирался, словно зверь, только что попавший в клетку, из глаз его сеялось безумие, на лице, где еще оставалось свободное от волос место, блестели

капли пота. Я усадил его в кресло и предложил подкрепиться и закусить.

– Нет, спасибо, – нетерпеливо бросил он. – Только воды. Холодной воды, если есть.

Он с жадностью выпил три большие кружки воды со льдом. Пока пил, пытался что-то сказать, но и слова проглатывал с той же жадностью.

– Откуда он явился ко мне в таком состоянии? – молча размышлял я. – Поселение, в котором он жил, за это время, конечно, превратилось в городок...

Мишаэль, как видно, прочитал мои мысли, кончил пить и рукавом вытер губы.

– Я живу в пещере, – прямо по сути вопроса ответил он.

– В пещере, где могилы Праотцев в Хевроне? – пытался я пошутить.

– Нет, в пещере, что в долине реки Сорек.

– Так ты, как Самсон, ищешь там шатер Далилы?

– То, что искал, уже нашел.

– С каких же пор ты в пещере?

– Как вернулся из Турции.

– А сколько ты пробыл в Турции?

– Ни одного дня.

– Как же ты мог вернуться оттуда, где не был?

– Я бывал там только ночами.

– И чем ты там занимался?

– Исследовал.

– Что же ты нашел?

– Вот это.

Он довольно долго шарил по карманам, пока не вытащил листок бумаги. То была ксерокопия волнообразных строк, состоящих из каких-то закорючек, произведенных компьютером. Не вежде вроде меня нечего и думать о постижении смысла подобных явлений, ибо нет у меня ключа для расшифровки этого иероглифического письма конца 20 века, будь то электрокардиограмма или криптограмма с борта космического корабля.

– Ты нашел это в Турции?

– Перед тобой фотокопия зашифрованного древнего рассказа, высеченного на одной из скал в горах на западе Малой Азии. Однако есть все основания предполагать, что он происхо-

дит с Востока Азии Великой. У меня в руках сейчас точный перевод на иврит. Хочешь послушать?

Он и не думал дожидаться ответа, сунул руку в карман штанов, и когда вынул – она была сжата в кулак. Очень медленно, словно не был уверен, что же именно скрыто в кулаке, начал он выпрямлять пальцы. На ладони оказалась смятая записка, точно такая же, как та, по которой он много-много лет тому назад читал мне выписку из „Мощной десницы“ Маймонида.

– Перевод сделан специалистом, одним из трех существующих сейчас в мире ученых, знатоков языка оригинала.

– Что же это за язык?

– Неважно. Навостри уши и слушай.

Пытаясь вспомнить, кто и когда в последний раз обращался ко мне с приказом в такой необычной форме, я действительно „наострил уши“. Он читал так, словно диктовал:

«Глубокий старик и молодая девушка столкнулись при входе в здание библиотеки. Старик собирался выйти, а девушка – войти. Она остановилась, чтобы дать дорогу старику, но он воспротивился и так сказал ей: „Моя мать учила меня учтивости, и правило "Ladies first" я сохранил на всю жизнь“. „Сколько вам лет?“ – спросила девушка. Старик ответил: „Ровно через три месяца мне будет восемьдесят“. Рядом со стариком стоял юноша, который слышал этот диалог. Внезапно он выхватил из-за пояса нож и заколол старика насмерть. На суде он заявил, что, будучи ревностным поборником Божественных Воинств (заметь: Божественных Воинств, но не Бога воинств – всесильного Саваофа), он не стерпел гордыни по отношению к богам, какая прозвучала в словах старика. Ни один человек, и уж тем более тот, кому лишь трех месяцев не хватает до восьмидесятилетия, не имеет основания с уверенностью утверждать, что достигнет определенного возраста. Судья постановил: он готов принять заявление юноши лишь при условии, что девушка сумеет воскресить старика. Если она не умудрится это сделать, убийца будет обезглавлен, но если ей удастся вернуть жизнь старику, она выйдет за него замуж, и они усыновят юношу».

Мишаэль опять сжал пальцы в кулак, словно боясь, что у него выхватят бумажку. Мы оба молчали. Я никак не мог прокомментировать это поразительное варево, а он погрузился в морочу собственной души и спутанных мыслей. Наконец вздохнул и прошептал самому себе:

– Великая тайна, великая тайна.

И тут в моем сознании возник образ хасидского цадика рабби Нахмана из Брацлава, и яркими вспышками пронесли отрывки из комментария переводчика и толкователя его мистических „Рассказов“ – рабби Натана: „Царь, о ком речь, – он Всевышний властитель мира, царица – это Шехина и Кнесет Исраэль в галуте“*.

Я почувствовал душевное утомление:

– Скажи, Мишаэль, почему ты пришел ко мне сегодня?

– С единственной целью, – ответил он неожиданно разумно и деловито. – Чтобы спросить, не слышал ли ты о русском поэте-еврее по имени Шимон Липкин, и если да, то расскажи мне все, что знаешь о нем.

И я рассказал. Семён Израилевич Липкин родился в 1911 году в Одессе. Печататься начал с 1928 года и стал известен как поэт, переводчик литератур народов Востока и автор оригинальных произведений, в том числе на еврейские темы; переводил также и с языка идиш. В знак протеста против преследования писателей вышел из Союза советских писателей, и с 1979 по 1987 годы его произведения в СССР не публиковались. В своей поэзии, прозе и публицистике Липкин не скрывал своего еврейского происхождения, но защищал евреев и иудаизм с общегуманистических позиций и подчеркивал при этом собственную укорененность в русской культуре как неотрывной части мировой цивилизации. В 1968 году Липкин опубликовал стихотворение под названием „Союз“, которое вызвало бурные споры в обществе. Очень многие прочитали скрытый в нем подтекст – прославление «народа по названию „И“», то есть народа Израилева, чей вклад в историю развития человечества неотменим и кое в чем определяющ. Антисемитски настроенные круги обвинили Липкина в скрытом восхвалении сионизма, в то время как евреи в мире и в Советском Союзе восприняли стихотворение с воодушевлением.

* „Кнесет Исраэль“ – весь еврейский народ, где бы ни находился в галуте, единый в родстве своем, судьбе и ответственности.

Шехина – символ женского начала в Божестве; по мистической „Книге Сияния“ („Зохар“), когда весь народ, все колена его и вместе с ним Шехина вернутся из галута в Эрец Исраэль – восстановится тогда гармония в обоих мирах: вышнем, божественном, и земном.

В 1990 году Липкин побывал в Иерусалиме и на своем литературном вечере в Еврейском университете ответил на вопросы по поводу стихотворения „Союз“. Он решительно отверг всякий подтекст, связанный с иудаизмом и Израилем, сославшись в качестве доказательства на имеющиеся в стихотворении слова об „отчужденной кумирне“, то есть языческом капище, естественном для кочевого народа „И“, но совершенно чуждом евреям. Слово „Союз“ в его двойном значении дает возможность для множественных толкований, однако автор ситает свое стихотворение поэтическим выражением мысли о том, что и крохотное племя с названием в одну букву может внести в историю развития человечества вклад ничуть не меньший, чем какая-нибудь великая держава. Поэтому автор не подлежит проклятиям, поношениям и обвинениям, какие обрушивают на него антисемиты, но также не заслуживает и тех исключительных похвал, какими награждали его евреи. Причиной же написания этого стихотворения, по словам Липкина, явилось упоминание о маленьком народе под названием „И“, обитавшем в Монголии, – его описание автор нашел, изучая в качестве переводчика литературу и историю восточноазиатских народов Советского Союза. Семен Липкин перевел, в частности, эпос калмыков „Джангар“, киргизов – „Манас“, кабардинский эпос „Нарты“, бурятский – „Гэсэр“ и „Махабхарату“ древних индусов.

Мишаэль слушал мои слова так, словно погружался в звуки музыки. Широкая его ладонь, почти скрыв лицо, отделяла черные брови от белой седой бороды – желтизна ее исчезла, смытая каплями пота. То была, как видно, пыльца от иссушенной солнцем скошенной травы, налипшая на мокрые от пота волосы. Когда я окончил свой рассказ, он не переменял положения и, не отнимая ладони от лица, стал что-то бормотать, произнося отдельные слова и обрывки фраз. Сперва я подумал, что у него галлюцинации и он не в состоянии выразить свои видения и чувства, потом я начал различать слова: „Я знал... догадывался... десять исчезнувших колен... Дальний Восток... читал книгу ученого японца – доказывает, что японцы одно из десяти колен... колено по названию „И“ – Иссахар... надпись... высечена на скале... переименована татарами... Чингиз-хан... монгол-завоеватель... все ясно... возрождение, великое воскрешение... обратное христианскому... отец – жертва... тотем... отец восстает из мертвых и усыновляет своего убийцу. Рав Кук все предвидел.

Поселенцы, как первопроходцы в Эмек и Галилее, пустошь сделали плодородной... безбожниками были, ниспровергли заповеди, но через это восстановили славу Торы и выполнили заповеданное заселение Страны. Поселенцы наших дней вернут народ наш на земли Иудеи и Самарии и вселят в души свои Бога Израилева, которого отвергали в сердцах своих. Глаза наши зрят Его возвращение в Сион, как предвидел рабби Нахман из Брацлава. Так ты сказал“.

Я готов был поклясться, что не произнес ни единого слова о рабби Нахмане из Брацлава. Только размышлял о нем, но даже рта не раскрыл.

„Так вот, рабби Нахман из Брацлава, и рабби Натан, истолкователь его. Ибо Старик – Он Господь Пресвятой и Преблагословенный, юная девушка – святая Земля, перед которой Сам Творец Вселенной отступил, дабы предоставить место ее святости, закалывающий ножом – это Израиль, народ еврейский, который, если и согрешит, все равно останется избранным народом и будет в конце концов избавлен сам и избавит весь мир. Все начертано в священном тексте народа из колена Иссахара, который наконец-то оценен теперь по заслугам. Недаром, значит, ставило колено Иссахара стан свой при знамени стана Иеуды, когда исчисляли народ в пустыне по выходе из Египта. Счастье твое, Ицхак, что удостоился ты просветить меня мудростью и разумением. Приходящий к тебе в упадке – уходит прозорливым. Да хранит и помилует тебя Господь“.

Мне хотелось убежать, чтобы не видеть, не слышать Мишаэля, не воспринимать несуразицу, которую он несет. Однако не только убежать я не смог, но даже и с кресла встать было выше моих сил. Огромная усталость одолела меня. Мне ничего иного не оставалось, как закрыть глаза и заткнуть уши. Я так и поступил. Тогда он опять пропал. Я не видел его и не слышал. Однако чувствовал запах. Запах усиливался и густел, обволакивая меня, как облаком... Запах переливался, превращался из смрада гниения в благоухание густой, сочной зелени... Тогда, уже не видя и не слыша, я заговорил. Я сказал свое слово – притчу, надеясь, что мой голос заглушит Мишаэля.

– Мишаэль, – сказал я, – ты еще помнишь: во второй части „Капитала“ у Маркса есть глава под названием „Кругооборот производительного капитала“. Там есть формула, часто повторяемая: деньги – товар – деньги. Из этого следует, что капитал

есть самовозрастающая стоимость. Я советую себе заменить эту формулу саморазвития другой: распад – цветение – распад.

Может, прав Агнон, и нужно ввести дополнительный компонент: „плод“, тогда получится: распад – цветение – плодоношение – распад, и дальше начинай сначала. Так что не три, а четыре элемента стадии самовозрастания, не треугольник, но квадрат. Сам же я явился в мир не иначе как для того, чтобы округлять все, что угловато.

Как?

Добиваясь формы абсолютной полноты и завершенности – формы круга.

Я прислушался. Тишина царила в комнате. Открыл глаза. Мишаэля как не бывало – исчез. Даже и запах выдохся. Точнее почти выдохся, потому что в мозгу моем все же осталась бледным абстрактным отпечатком некая формула смеси зловония и аромата цветущих растений.

В этой истории меня тянет закруглиться, и ничего нет естественнее, если, начав свой рассказ со стихотворения, я кончу его тем же, замкнув этим круг своих размышлений. Пока я искал стихотворение Липкина, каким хочу закончить, Мишаэль, вероятно, уже вышел из больницы и вернулся в место своего обитания здоровым – если не душевно, то хотя бы физически. Ведь араб ранил его в Старом городе Иерусалима по дороге на молитву у Стены Плача. Значит, он тогда был здоров. Попробую теперь найти его и навестить. Надеюсь, он уже не живет в пещере, не блуждает в горах Турции и не перекочевал на Дальний Восток. Даже если он по-прежнему жаждет найти там убежище народа по названию „И“.

Как дыханье тепла в январе
Иль отчаянье воли у вьючных,
Так загадочней нет в словаре
Однбуквенных слов, однозвучных.

Есть одно, – и ему лишь дано
Обуздать полновластно различья.
С ночью день сочетает оно,
Мир с войной и с паденьем величье.

В нем тревоги твои и мои,
В этом И – наш союз и подспорье.
Я узнал: в азиатском заморье
Есть народ по названию „И“.

Ты подумай: и смерть, и зачатье,
Будни детства, надела, двора,
Неприятие лжи, и понятие
Состраданья, бесстрашья, добра.

И простор, и восторг, и унылость
Человеческой нашей семьи, –
Все сплотилось и мощно сроднилось
В этом маленьком племени „И“.

И когда в отчужденной кумирне
Приближается мать к алтарю, –
Это я, тем сильней и всемирней,
Вместе с ней о себе говорю.

Без союзов словарь онемееет,
И я знаю: сойдет с колеи,
Человечество быть не сумеет
Без народа по имени „И“.

Перевод с иврита А. Цукерман

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Политические страсти в нашей стране так обострились, что в журнале „22“ стало невозможно о них писать. Текст устаревает прежде, чем он набран. Слава Богу, у русскоязычного читателя есть 22 газеты, которые навязнут свои 22 категорических мнения, ничего не требуя взамен.

Мы видим свою задачу в том, чтобы опубликовать материал, который даст нашему читателю возможность самому судить о событиях и о столкновении мнений, не устаревающих со временем.

Драматическая история Израиля поражает своей повторяемостью. Вопреки бурному потоку событий, время на Ближнем Востоке как бы не течет, и одни и те же ситуации воспроизводятся снова и снова. Как будто все, что произошло в прошлом ничего не значит для будущего.

В этом номере мы публикуем два отзыва на два важнейших события израильской истории двух выдающихся израильских публицистов. Оба отзыва замечательны своей парадоксальностью, оба идут вразрез с господствующим в их время настроением общества, и оба содержат далекие предвидения, в полной мере оцененные только сейчас. Оба публициста резко осуждают свое правительство, но это – разные правительства. И сами они принадлежат к противоположным сторонам политического спектра.

Мы видим, что те же вопросы и те же ответы на них воспроизводятся в Израиле на протяжении жизни нескольких поколений. По-видимому, неразрешимость проблемы наших отношений с арабами кроется не в арабской психологии, а в нашей. Поймем ли мы друг друга прежде, чем арабы поймут нас? Сможем ли совместить требования справедливости с защитой собственных интересов? Не пора ли нам как-то примириться с этой неразрешимостью, как уживаемся мы внутренне со всеми другими неразрешимыми проблемами в жизни: с непониманием между отцами и детьми, с неравенством богатых и бедных, с торжеством удачливых и завистью обделенных, с эгоизмом здоровых и отчаянием больных?

Ведь все мы хотим несовместимого: справедливости для всех – и удобной, богатой, обеспеченной жизни для себя.

Иешаягу Лейбович («Едиот Ахронот», апрель 1968)

«ТЕРРИТОРИИ»

Расширение области израильского суверенитета на территории Эрец Исраэль (и/или Синая), оккупированные во время Шестидневной войны; их удержание под израильской властью или контролем в каком-либо виде; их возврат арабам – окончательный выбор между этими политическими концепциями обсуждается в нашем обществе как с точки зрения прагматической, так и идеологической: с одной стороны, потребности и интересы политические, экономические и оборонные, „мир“ и „признанные и безопасные границы“, с другой – понятия эмоциональные и ценностные, такие как „неделимый Израиль“, „Святая Земля“, „владения предков“, „герои, павшие за освобождение нашей земли“. Необходимо обсудить по отдельности и по существу каждое из перечисленных понятий.

Ось, вокруг которой крутится политический спор, – это „мир и безопасность“. Если понятие „мир“ применяется здесь в своем истинном смысле, а именно как описание совместного существования государства Израиль с соседями на основании соглашений, принятых обеими сторонами, то нет шанса на такой мир ни сегодня, ни в обозримом будущем. Здесь не место для глубокого исторического исследования: было ли с самого начала израильско-арабского конфликта возможно решение, приемлемое для евреев и арабов; тем не менее стоит отметить, что если за 20 лет после образования государства Израиль и возникали ситуации, когда, может быть, был какой-либо шанс прийти к соглашению, – все они были упущены. Теперь уже невозможно и представить, что одна из сторон по собственной инициативе предложит противной стороне что-то, что будет при-

нято по доброй воле. Только сила и давление сверхдержав предотвращает военные действия в нашем районе сегодня и в будущем. Возможно, их сила и давление, при условии согласия между ними – вот что приведет к мнимому „миру“ в виде соглашения, навязанного обеим сторонам. Соглашение это будет выполняться, пока существует согласие между сверхдержавами. Те, кто способны видеть – а есть такие и на вершине власти, но они, по-видимому, предпочитают молчать, – видят, что без решения, навязанного извне, мы превратимся во второй Вьетнам, с войной, которую нельзя закончить и которая сопровождается постоянной эскалацией. Возможно, что завтра мы будем вынуждены захватить Амман или Дамаск, но ничего этим не достигнем.

„Безопасность“ – это не что иное как настоящий мир между соседями (например, Голландия-Бельгия, Швеция-Норвегия, США-Канада). Без мира нет безопасности, и нет такого географо-стратегического соглашения, которое способно изменить эту реальность. Нет прямой связи между проблемой безопасности и проблемой оккупированных территорий: нет „безопасных границ“. Построение обороны по принципу оборонных линий – типа „линии Мажино“ – всегда кончалось провалом, со времен китайской стены и до гитлеровского Атлантического вала. Проблема нашей безопасности – это не проблема каких-либо границ и не чисто военная проблема, а сложная военно-политическо-общественная проблема. Пока есть у нас качественное преимущество (с технической и с организационно-общественной точек зрения) над арабами и есть американская поддержка, нейтрализующая вмешательство русских, мы способны удержаться в любых границах. Тому доказательство Шестидневная война, начатая нами в границах, проходящих через Калькилию и вдоль стены Старого Иерусалима. При отсутствии одного из этих факторов не поможет нам никакая граница, даже та, которая проходит вдоль Суэца и реки Иордан. Это и есть истинная ситуация. Сегодня, когда, наконец-то, есть у нас границы, которые, по словам „специалистов“, являются „идеальными с точки зрения безопасности“, мы вынуждены тратить на оборонные нужды много большую часть национального дохода, чем в годы, предшествующие Шестидневной войне и „идеальным границам“.

Это означает, что наша безопасность не возросла, а уменьшилась в результате захватов в эту войну.

Нам суждено существовать в нашей стране без мира и без безопасности, как и существовал народ еврейский во все тысячелетия. Для такого существования мы будем вынуждены прилагать огромные усилия и приносить постоянные большие жертвы. В этой связи необходимо прояснить для себя, какой будет та страна, ради которой мы и наши дети будем готовы на такое существование. В результате такого анализа мы определим нашу позицию по проблеме „оккупированных территорий“.

Проблема – не территории, а население 1,25 млн. арабов, живущих там, и им мы будем вынуждены навязать *свое господство*. Включение этих арабов (в дополнение к 300.000 арабов – граждан страны) в рамки нашей юрисдикции означает ликвидацию Израиля как еврейского государства, крушение социальной структуры, которую мы создали в стране, и унижение личности – как еврея, так и араба. Все это произойдет, даже если арабы и не превратятся в большинство в стране (в результате высокого естественного прироста), а останутся третью или 40% населения. Страна уже не будет еврейским государством, а страной „кнаановой“: ее проблемы, потребности и предназначения не будут более проблемами, потребностями и предназначениями еврейского народа в Израиле и за его границами, а только специфическими проблемами управления и администрации этой страны – делами власти над евреями и арабами.

Это похоже на проблемы Ливана: постоянная необходимость регулировать отношения маронов с мусульманами и друзами и пр. Страна погрязнет в этих специфических проблемах, не будет ей дела до еврейского народа. В течение короткого времени прекратятся ее духовные и душевные связи с еврейским народом, а также ее духовные и душевные связи с еврейской религией. Все содержание образования, называемого „неделимый Израиль“, сведется к поддержанию им своей властно-управленческой структуры.

С точки зрения социальной: в течение короткого времени не останется в той стране ни еврея-рабочего, ни еврея-земледельца. Рабочим народом будут арабы, в то время как евреи станут управляющими, контролерами, служащими и полицейскими, а

главное – агентами безопасности. Страна, которая управляет враждебным населением в количестве 1,5-2 миллиона „чужих“, обязательно станет страной „шин-бета“ со всеми вытекающими из этого последствиями для духовного образования, для свободы слова и мысли, для демократического строя. Коррупция, свойственная любому колониальному строю, проникнет и в государство Израиль. Администрация будет вынуждена заниматься подавлением арабских повстанческих движений, с одной стороны, и вербовкой арабских „квислингов“ – с другой.

Есть опасение, что и ЦАХАЛ, который до настоящего времени был народной армией, скатится до уровня армии оккупантов, а его командиры превратятся в военных комендантов, как и их коллеги у других народов.

В связи с этим у нас нет иного выхода – если нас волнует судьба еврейского народа и его страны, – как только убрать с оккупированных территорий, заселенных 1.25 млн. арабов. И это без всякой связи с проблемой мира. Здесь говорится об уходе с оккупированных территорий, а не об „их возврате“, ибо нет у нас права решать, кому необходимо „их возвращать“: Хусейну? ООП? Насеру? местным жителям? Не наше это дело и обязанность, и даже не наше право решать, что будут делать арабы с территориями после того, как мы уберемся оттуда. Наше дело обосноваться в нашей еврейской стране и защищать ее. Если не уберемся по-хорошему, т.е. по своей доброй воле, в результате понимания истинных потребностей еврейского народа и страны, – американцы и русские навяжут нам уход с позором.

Что касается „религиозных“ требований аннексировать оккупированные территории – это не что иное как отражение ханжества по неведению (или даже осознанного), иллюстрация к превращению еврейской религии в прикрытие израильского национализма. Фальшивая религиозность отождествляет удовлетворение националистических амбиций со служением Богу и представляет государство, всегда служившее лишь инструментом и средством для удовлетворения человеческих нужд, как высшую ценность с точки зрения религиозной.

Доводы, приводимые из Галахи в пользу удержания территорий, смехотворны уже в силу того, что Государство Израиль

вообще не признает ни полномочий Торы, ни необходимости соблюдения ее законов. А также и из-за того, что большинство народа Израиля отвергает авторитет Торы и ее предписания. Захват всего Эрец Исраэль армией Государства Израиль – это огромное и впечатляющее национальное достижение для любого еврея, как религиозного, так и светского, если только у него есть еврейское национальное сознание. Тем не менее в самом по себе факте захвата еще нет никакого религиозного смысла. Не всякий факт „возврата в Сион“ является религиозным актом: есть также возвращение в Сион, о котором сказано, что „придут и осквернят мою страну и землю и опустошат ее“. Так же и в самом факте возвращения израильской власти над Храмовой Горой нет никакого религиозного смысла: есть израильская власть над Храмовой Горой (и над Стеной Плача), о которой сказано, что „придут развратники, сыны народа твоего и осквернят“. Еврейский суверенитет на территории Эрец Исраэль как факт чисто политико-административный – это не „традиция поколений“, на которую опираются сторонники „неделимого Эрец Исраэль“, и не в этом проявилась „историческая связь“ народа с ним. „Неделимый Эрец Исраэль“, как это вырисовывается в сознании его „религиозных“ или псевдорелигиозных сторонников, есть не что иное как властвующий в *этом поколении* идеал. В то время как „те поколения“, к которым обращаются в своих доводах религиозные националисты, не стремились к возобновлению еврейского суверенитета над Эрец Исраэль, а лишь к возрождению прежнего величия еврейства (= Торы). „Историческая связь“ израильского народа с Эрец Исраэль не существовала иначе, как в сплетении со связью с Торой.

Эрец Исраэль – не Святая Земля и Храмовая Гора – не святое место, иначе как с точки зрения соблюдения специальных обрядов, связанных с этой землей и с этим местом: не заповеди были даны Эрецу и Горе потому, что они святы, а, напротив, их „святость“ проистекает из выполнения заповедей. Мысль, что есть определенная земля или определенное место, как некая „святость“ сама по себе, – это чистейший фетиш. Только припомним, что сказал пророк Иермиягу о святости Храма, когда поругатели Торы и заповедей назвали его „Божий Дворец“. Национализм и патриотизм сами по себе не являются

религиозными ценностями. Пророки Израиля в период Первого Храма и мудрецы Израиля в период Второго Храма – в большинстве своем оказались предателями с точки зрения понятий светского национализма. Сегодняшние раввины, призывающие к удержанию территорий „по религиозным соображениям“, являются продолжателями традиций не пророка Элиягу, а скорее 850 пророков, прозванных „прихлебателями Иезавели“. Они продолжатели не традиций Михиягу Бен-Имла, а скорее 400 пророков Ахава.

Все мы понимаем клич, провозглашаемый многими: „Разве зря пали наши дорогие сыны в Шестидневную войну? Разве не осквернится эта земля, пропитанная их кровью, в результате ее возврата гоям?“ И все-таки будет сказано призывающим: относительно большинства войн в истории, и даже в настоящем, можно сказать о павших, что есть смысл в их смерти, и вместе с тем – что пали они зря.

Есть смысл в их смерти – если пали, защищая свой народ и свою землю. Однако они пали зря в том смысле, что для большинства их смерть (и даже смерть в результате победы) не решает самое проблему, ради которой они сражались и погибли.

Ни один из наших братьев и сыновей, которые погибли в Шестидневную войну, не спас Родину от опасности, которая тогда висела над ней. Их победа и смерть не только не устранили, но и не ослабили постоянную угрозу существованию Государства Израиль. Угрозу, продолжающую существовать и сейчас, без всякой связи с тем, что делается или не делается на территориях. И есть опасение, что к жертвам Шестидневной войны для защиты Родины прибавятся еще многие.

Перевод А. Яхот.

Израэль Эльдад («Едиот Ахронот», декабрь 1977)

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА МЕНАХЕМУ БЕГИНУ

Я надеюсь, что до Вас доходят не только отголоски политического сопротивления и страхов за безопасность (для этого есть средства информации), но также и волны возмущения, разочарования, обманутой любви. Несмотря на то, что многие из Вашего окружения, не находя в своем политическом сознании оправдания Вашим поступкам, предпочитают молчать и утешают себя коротким ответом: „Я ему доверяю“, – все же нельзя не заметить дрожь в их голосе. Более того, я верю, что где-то, в потайном уголке Вашей души, Вы даже рады сопротивлению, которое поднялось против Вас, ибо оно явилось как усиленное эхо Ваших собственных сомнений и угрызений совести. Есть много арабских стран, удерживающих Садата на пути к миру (даже если предположить, что он действительно стремится к миру), но – где Ваши тормоза? Разве не было ясно наперед, что наши „заграничные друзья“ окажут на Вас давление с целью добиться уступок? Посмотрите, кто восторгается теперь Вами? Все, кто был ненавистен Вам прежде. Вам не страшно? Не оглушены ли Вы, не испуганы ли восхищением, которое несется с того самого крыла? Если они Вас хвалят, то это почти автоматически требует самопроверки, не так ли? Вы, несомненно, помните классический фельетон Герцля „Умник“, заканчивающийся благодарностью Герцля за то, что „умник“ выступил против него.

Вы перечисляли государственных деятелей, которые поддерживают Ваш план, а я чувствовал мучительное неудобство. Не только из-за того, что еще скоро услышим от них ответ на Ваше якобы упрямство...

Нет, никогда я не обвинил бы Вас в том, что Вы изменили своей идеологии. Однако я не представляю Зеэва Жаботинского в качестве главы правительства, соглашающегося появиться в стране с целью официальных переговоров без того, чтобы израильский флаг реял над зданием, где он проживает, и над зданием, в котором ведутся переговоры. В этом было бы вопиющее унижение, выходящее за все допустимые пределы дипломатической церемонии.

Меня переполнял стыд, пока я слушал передачу о Вашем приеме в Египте. Садат не приезжает в аэропорт, не выходит к вертолетной площадке, не выходит навстречу Вашему автомобилю, а сидит себе в кресле в саду. Так его принимали в Израиле? Не было израильского флага ни в городе, ни в гостинице, не упоминали ни Вашего имени, ни даже слова „Израиль“. Сплошные воспевания и восхваления великого победителя, который пересек Суэцкий канал (переход канала Ариком Шароном был действительно дерзкой победой, во много раз превосходящей переход канала Садатом). Нет сомнения, что Исмаилия и остров на канале были выбраны для встречи с целью задеть и унижить: это место их „победы“ над нами. В то время как настоящая правда состоит в том, что мы победили их, и не им диктовать свои условия. Как уже сказано, я не представляю, как лидер Бейтара согласился бы на такое отношение по вопросам церемонии, места переговоров, флага и пр. Нет, дело не в случайностях или в отсутствии такта со стороны Садата. Все у него было рассчитано. Он вел себя как господин, как победитель, он не уступил ни по одному существенному вопросу, разве что...

Разве что Вы принимаете его основополагающее положение, что сама его готовность вести переговоры с Вами (или с нами) – это большая жертва, большая честь для нас, для Израиля. И хотя многие в Израиле потеряли голову от экстаза из-за „признания“, которым он соизволил одарить нас, все же, зная Вас как гордого израильтянина, знающего нашу силу и корни, думаю, что Вы сами не переполнились счастьем от факта, что президент Египта с Вами говорит. Понятно, что мне не приходит в голову видеть Вас виновным в унижительном безумстве, охватившем израильтян и доходящем до пресмыкания – осталась ли еще одна израильская организация, которая не предложила себя Египту для обмена визитами? И все с нашей стороны – и в спорте, и в искусстве, и в туризме. А они даже не снизили

разрешить танцовщице живота выступить на городской площади по случаю празднования мира. На любое предложение у них один ответ, сдержанный и логичный: „Пока нет“. Только у нас отсутствуют сдержанность и достоинство...

Рэб Меир из Фермишлана сказал: „Меня не накажут на том свете за то, что я не был праотцем Авраамом. Не был я праотцем Авраамом. Меня накажут за то, что я не был Меиром“. Вы, Менахем Бегин, не заслуживаете наказания за то, что не возродили царство Израильское в границах, обещанных Аврааму. И за то, что Вы не Жаботинский, не полагается Вам наказания. Вы не Жаботинский. Но почему Вы не Менахем Бегин? Вот вопрос, который задают многие, удивленные и задетые до глубины души.

Все еще из области тактики. Разве Жаботинский не учил нас азбучной истине: если один говорит „все мое“, а другой отвечает „половина моя“, то последний заранее проиграл. Садат стоял на своем „все мое“ четко и просто: захватчик обязан уйти к границам 4-го июня 1967 года. Вы прекрасно ответили на юридический и провокационный вопрос во время пресс-конференции относительно нашего непризнания этих территорий захваченными, напомнив присутствующим, кто первый совершил нападение. Понятно, нельзя требовать от Вас, занимающего такой официальный пост, провозглашения, что Шестидневная война была войной за независимость, что мы не захватили, а освободили части нашей Родины. Но в тот момент, когда в ответ на однозначную позицию Садата Вы объявили, что все открыто для переговоров (а некое официальное лицо добавило „и Иерусалим“), Вы потерпели тактическое поражение. Теперь никто не сомневается, что „цена мира“ будет расти и расти, хотя, судя по всем признакам, мир необходим Египту ничуть не меньше, если не больше, чем нам. И не только Садат потребует дополнительных уступок. А также и „друзья“ Ваши, „светочи мира“, потребуют уступок от Вас и правильно сделают. Это ведь те самые азбучные истины, которым Вы учили Маарах еженедельно, ежедневно. Те самые тактические соображения, которые Вы всегда выдвигали в ответ на все их компромиссные предложения. Как же Вы могли так оступиться? И что еще Вам придется отдать – и Вы непременно отдадите, помимо уже отданного?..

Предположим, что включение Израиля в список захватчиков

Иудеи и Самарии (Турция, Англия, Иордания и Израиль) – это Ваша оговорка. Но разговоры – а может, и в письменном виде – о равных правах обосноваться там на жизнь – это не оговорка. Это чистое отрицание самой основы сионизма, в дополнение к тому, что это прямое нарушение религиозных законов, запрещающих передачу частей Эрец Исраэль инородцам. Сионизм – как бы это ни было неприятно для либерально-абстрагированного слуха – односторонен по отношению к правам на алию и поселения, есть в нем на самом деле дискриминация (Закон о возвращении, например). В этом – суть сионизма. Тот, кто нарушает эту односторонность, наше исключительное право на эту землю, на поселения, на алию, – тот убивает сионизм. Если когда-то можно было говорить что нет арабской „алии“, нет арабских „поселений“, то сегодня все перевернулось. Сегодня есть у них потенциал для „алии“, или, их языком, „возвращения беженцев“, сознательно содержащихся в лагерях. Есть у них миллиарды нефтедолларов, на которые скупаются кварталы в Лондоне, и почему они не скупают все земли у нас, включая Тель-Авив? Может, и „Мигдал Шалом“? Может, войдут в долю в строительстве Центральной автобусной станции, которая испытывает трудности? Кто может им это запретить?

Вы преждевременно отвечаете ООП – она живет в сердцах палестинцев, даже если они назовут себя „арабы Эрец Исраэль“. ООП будет существовать, даже если перестанет убивать. Более того, она возродится как политическое движение (нечто вроде „реального и политического сионизма“) в тот самый момент, когда, поступив разумно, примет Ваше предложение о „самоопределении“.

Итак, мы подошли к центральному моменту.

Я не могу представить себе, что вдруг исчезли из Вашей феноменальной памяти такие понятия, как „Судеты“, „Саар“ (демилитаризация!) или „Данцигский коридор“.

Понятно, Вы многократно заявляли, что автономия ни в коем случае не превратится в „Палестинское государство“. Но истина в том, что это как раз то единственное, во что неизбежно разовьется – и только и может развиваться – эта форма самоопределения. Неизбежно, если только Вы не захотите предотвратить это военным путем, что, конечно, будет „агрессией“ и „интервенцией“ в глазах всех „друзей“ во всем мире. Избранные в Совет

автономии и в их органы управления будут или людьми Арафата, или людьми Хабаша. Они, и именно они, будут контролировать автономию. „Гражданский“ процесс в области самоопределения ясен, и мне трудно предположить, что у Вас такое „головкружение от успехов“, что Вы этого не понимаете. Это – чистой воды Палестинское государство, и все споры с Маарахом о предпочтительной связи с Иорданией – пустое дело. Пойдете на „территориальный компромисс“ – получите то же самое: Палестинское государство. К тому же приведет и связь (федеративная или другая) с Иорданией – получим клубок всех несчастий.

Но это еще не все: среди уступок, на которые Вас вынудят пойти в результате Вашего грубого тактического промаха, будет статус Иерусалима. Точно так же, как арабы вот-вот получают, именно из Ваших рук, непосредственно или окольным путем, немедленно или через пять лет (какой там пять? год!), политический статус в Эрец Исраэль, чего они не сумели сделать ни при турках, ни при англичанах, ни при иорданцах, ни своими руками, – они получают и статус в Иерусалиме, чего до сих пор они не имели. Муфтий Хадж Амин Эль-Хусейни мог только мечтать об этом: с Вашей помощью Иерусалим будет превращен в нечто подобное мусульманскому Ватикану. Ни Марокко, ни Саудовская Аравия (почему не Пакистан или Йемен?) никогда до сих пор не имели статуса в этом городе. Это Ваше изобретение. И вместе с планами о Ватикане (с помощью Даяна и других посланников), несмотря на все опровергающие заявления, смысл всего этого – превращение Иерусалима в международный город.

Мало того, что еврейский статус Иерусалима не укрепился при Вашем правлении (раввину Горену было запрещено даже опубликовать книгу, где он позволял восхождение евреев на часть Храмовой горы) мало того, что в „молитве“ Садата на Храмовой горе не было упоминания о еврейской доле в этом месте, что лишний раз подчеркнуло исключительное исламское право на Храмовую гору, – в будущем значение Иерусалима для всего исламского мира будет возрастать, включая представительство всех арабских стран. И нет сомнения, что нас ждет еще решительное требование относительно Восточного Иерусалима.

Не лучше ли было бы встать и признаться: не было выхода,

вынуждены, положение серьезное, это удар – примем его, может быть, завтра исправим. Разве такая прямота не лучше (несмотря на то, что я не уверен, что ситуация именно такова), чем распространяться о достижениях, о мире, об успехах и о... верности принципам?

Сразу после Шестидневной войны, когда мы с Вами поднимались на Храмовую гору, я спросил: „Помните ли Вы, как было навязано Жаботинскому согласие на первую Белую Книгу?“ И Вы ответили: „Помню, он всю жизнь жалел об этом“.

Положение сегодня совсем другое. Вас никто не принуждает. Вы сами хотите подписаться под новой Белой Книгой. Без приукрашивания это означает одно: новый раздел Эрец Исраэль!

Если это Вам непонятно, Менахем Бегин, значит что-то ослабило силу Вашего политического анализа. Нет надобности в развитии воображении, чтобы представить Вашу политическую речь в случае, если бы такое предложение исходило от Маараха.

Хотя бы во имя исторической пользы: разве не лучше бы было, если бы Маарах выступил с таким предложением при сильном сопротивлении с Вашей стороны? Разве ради этого Вы были избраны? Вы изгнали англичан из страны, отстранили Маарах от власти, а сейчас Вы фактически изгоняете сионизм и еврейских поселенцев из Иудеи, Самарии и Синаи?

Леви Эшкол основал – хотя и под давлением обстоятельств – большое государство, а Менахем Бегин его ликвидирует, сокращает до прежних, и не исторических, и не справедливых размеров.

Ленин, хотя и отказался в свое время от больших территорий в результате Брест-Литовского мира, но он сделал это во имя коммунистической революции. До каких „просторов“ мы сожмемся? К какому общественному строю мы придем? – Усиленная левантизация с Лас-Вегасом и танцами живота? Без истории, без Храмовой горы, без нефти и без провидения – и все это во имя „мира“?..

Или Вы жестоко, катастрофически ошибаетесь, или... или мы обязаны признаться: идеологический сионизм – это одна сплошная ошибка. Нет смысла в принципах, заявлениях, есть смысл только в конкретных действиях, в любой момент и в любом доступном месте. И действительно, практические сионисты много сделали, хотя мы и выступали против них. Мы верили в

господство над территориями, которые нами не освоены, и нас считали безумными.

А что сейчас?

Сейчас мы совершаем нечто, чего никогда нельзя было вообразить, отказываясь от того, что было в наших силах: установить свой суверенитет на завоеванных частях Эрец Исраэль, произвести их массовое заселение, установить право меньшинства на эти территории.

Когда Бен-Гурион отступил из Синая в 1956 г. (на следующий день после заявления в Офире, что мы стоим на пороге возрождения Израильского Царства), он это сделал под угрозой ультиматума СССР и США. Он сделал это не с легким сердцем, без радости. И даже тогда Вы осудили его. Перед каким ультиматумом стоите Вы, Менахем Бегин, командир Эцеля, лидер национальной оппозиции, глава правительства Израиля? А ведь многие так радовались победе на выборах новой гвардии. Где эта гвардия?

Мое сердце переполняется болью. Дай Бог, чтобы Ваше сердце нашло силы вынести муки душевные и моральные, которые неизбежно еще придут. И пусть хватит у Вас смелости отступить в самый последний момент от пропасти, чтобы не пришлось нам оплакивать, хоть и, упаси Бог, не сам факт нашего существования здесь, и не нашу сионистскую мечту, а те многие жизни, которые станут ценой за этот лживый и иллюзорный мир.

Перевод А. Яхот

ГЕРМАНИЯ – ФАНТОМНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

В течение последних 75 лет Германия была дважды разгромлена и сорок лет разделена. Казалось бы, это должно было ослабить ее влияние и экономическую мощь. Однако ее экономическая мощь на наших глазах растет с каждым годом, а ее влияние в мире становится доминирующим (по меньшей мере в европейских делах).

Одна из очевидных причин этого парадокса состоит в том, что ее исторические соперники, Англия и Франция, в прошлом помешавшие развитию германского колониализма, впоследствии сами так сильно пострадали от распада своих колониальных империй, что в итоге оказались позади динамичной, построенной на собственной основе, западногерманской экономики. К тому же денацификация после Второй мировой войны позволила немцам обновить свой управляющий класс и освободиться от устарелых стереотипов.

Как бы то ни было, Германия и ее народ географически, экономически и психологически возвращаются теперь к своей привычной роли мировой державы. Одно из любопытных следствий этого развития проявляется в их видимом стремлении восстановить разрушенную еврейскую общину. В последние годы множество евреев из бывшего Советского Союза эмигрировали в Германию.

Если раньше интересы нашего русскоязычного читателя распределялись по треугольнику Россия – Израиль – Америка, то теперь ясно обозначился неосвященный четвертый угол, откуда все чаще обращается к нам не только читатель, но и писатель.

По многим причинам про Германию интересно читать, про то, какова она есть, и про то, какой ее нет...

ГЕРМАНИЯ КАК ЕЕ НЕТ
(из книги «Новый Марко Поло»)

1. БЕРЛИНСКАЯ ЛЕЗГИНКА

Многие вчуже полагают, что Германия – страна плоская, густонаселенная и обжитая, что равномерность ее обустроенного и обихоженного пейзажа лишь кое-где нарушается задравшими нос кирхами, перечеркнутыми затылками мельниц да одинокими градирнями подле медленно текущих рек.

Кто так думает – ошибается, как ошибался некогда и я, невинная жертва советской школьной географии: Германия, если не считать редких долин да готического сброда городов, – страна гористая и дикая, весьма пригодная, преимущественно в районе Саксонской Швейцарии, к строительству саклей, выпасу барашков и устройению засад на узейших серпантинах. Населена же она, особенно после восьми часов вечера по преимуществу мозамбикцами, вьетнамцами и румынскими цыганами.

Восточная Германия отличается от западной диким и воинственным нравом своих обитателей, каковые ходят в ушанках с красными звездочками во лбу и чуть что пускают в ход спрятанные под полою автоматы системы покойного купца Калашникова. А на Западе их веселые коллеги целыми днями гоняют на джипах с полосатыми флажками и доброжелательно морщат навстречу ветру и солнцу свои черные блестящие лица. Восточногерманские строения похожи на сванские башни и петровские пакгаузы в Ленинграде, а западногерманские – выкрашены беленькой

краской и обложены черепицей, но, как говорится, под одеждой они тоже голые. Чтобы завершить это краткое описание Германии, мне как добросовестному путешественнику необходимо еще сказать, что посередине этой страны помещается город Берлин, похожий на мозг с неравномерно развитыми полушариями. Интересен он, впрочем, не этим, а тем, что населяют его в значительном количестве наши с вами соотечественники, мирно провождающие свои дни с рюмкой шнапса на террасах специально открытых для них кафе. Дело в том, что германское начальство, надокучив буйным нравом и невоздержным поведением своих подданных, пригласило из российских пределов некую толику славящихся своим смирением и законопослушностью обывателей, дабы их примером убедить германских горцев в пользе и привлекательности такого уклада.

Несмотря на некоторое предубеждение, существующее у нас с вами против пресловутого своею воинственностью коренного тевтонского населения, кое-кто из наших с вами соотечественников жертвенно согласился понести свет цивилизации в эту окраинную, опасную для житья страну. И действительно: живут – немцев не боятся. По ихнему, новоприобретенному взгляду, немец, взятый партикулярно, есть существо совершенно безотносительное, уже смиренное обстоятельствами жизни, готовое, выгибаясь, как парус, идти на поводу даже у своей маленькой сизой собачки, сосредоточенно усыпающей рифленую берлинскую мостовую аккуратными какашками, похожими на пестро-желтых, обоеконечнозабстренных гусениц. Напротив, советские берлинцы опасаются... лезгин. Ибо, как сказывают, просочились сюда, а точнее, налетели, размахивая вместо шашек незадешево купленными еврейскими документами, лихие сыны Кавказских гор – огляделися и решили, что место хорошее, поскольку много чем напоминает родные края, как я уже имел честь вам доложить.

И вот они якобы обосновались в пустыющих саксонских саклях и взялись за свои старинные народные промыслы: а именно за деликатное приставление кинжала к горлу и вежливое испрошение безвозвратной ссуды. А поелику одолжаемся мы обычно у знакомых охотнее, нежели у чужих, то начали наши абреки с

бывших компатриотов, чем и привели их в упомянутое выше состояние „страха иудейска“.

...Рассветным часом, чуть розоперстая Эос присядет, болтая кривыми мускулистыми ногами, на краешке крыши рейхстага, уже слышится по Берлину-городу медленное мерное цоканье копыт. На расшитых серебром седлах покачиваются небритые мужчины в синих с искрой костюмах и в надвинутых на брови каракулевых папахах. За спинами у них карабины с золотыми насечками, а из прилаженных к чепракам кобур торчат свернутые в трубку утренние выпуски „Берлинер Тагеблатт“. Из окрестных лавок с поклоном выбегают хозяева и складывают в торбы, притороченные к конским крупам, свертки со своею еженедельною данью. Ибо, куда бы мы ни поехали, соотечественники, всюду мы, стремительные улитки, возим с собою свой домик, и никогда нам из него не выйти.

2. ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ

За исключением мест, специально отведенных под трудолюбивое немецкое гуляние, в Германии редко где увидишь любезное нашему сердцу доброкачественное столпотвореньице, задушевную прилавочную давку, крутой автобусный студенок. Единственное публичное скопление, достойное упоминания, – людская змеюка, нервно шевелящая разрозненным, загнутым за угол хвостом и жмущая массивную свою головизну в хлипкие загородочки вожделенного присутствия – не что иное, как очередь у ворот полицейского управления (так называемой „полиции для иностранцев“) города, ну скажем, Франкфурта-на-Майне. Наконец-то взор мой отдохнул на разнообразии фигур и лиц, собранных сюда со всех концов бесконечного мира: от пятидесятисантиметровых пигмеев в нестираных передничках из пальмовых листьев, кротко продувающих свои ядовитые плевалки, – до двухметровых скандинавов, привычно опьяненных мухоморным питьем и готовых, того гляди, безоглядно ринуться в сечу. А вот и родные: эти чудные винницкие женщины, похожие сзади на море, – не женщины, а какие-то соединенные стати

Америки; эти русские вундербогатыри – широкофюзеляжные лица с народной хитрожопинкой; эти нахальные московские старушки с богемными замашками; и эти черноголовые инженерские хохотуны... А вот, пожалуйста: подкованные зубы, покатые двухэтажные глаза, кроссовки до ушей, а сверху кепка – стоят кружком, соединивши козырьки: всё ребята деловые, всё советские, хоть и смешанного происхождения: половина чурки, а половина урки.

Что ж влечет их всех – и наших, и ненаших – в эти захудалые края с отвратительным климатом, о коем еще русский путешественник, Николай Михайлович Карамзин, писал: „Там, где течет Маин и Реин, думал я, небо чисто, дни красны, и одни Зефиры струят воздух... Но приезжаю, и нахожу пасмурную осень середи лета...“ „Однакож каменная Русская грудь не боится простуды, и питомец железного севера смеется над слабым усилием Маинских бурь“, – заметил он же, но только сам не знал, почему „не боится“ и „смеется“. А все дело в вершине Германской цивилизации, благодатностью своею искупающей не только что климатические, но и всякие иные несовершенства – в одной из тех вершин, к коим стремятся ото всех пределов изжаждавшие души дичающего человечества. Вершина эта – скажем сразу, без никаких обиняков, – простая, самая что ни на есть обыкновенная немецкая тюрьма.

В сегодняшней Германии, далекой горной окраине варваризующейся Европы, тюрьма есть единственное несомненное напоминание о когдатойшей великой культуре, об изветхшем гуманистическом наследии Шиллера и Гете, Вильгельма Буша и Вальтера фон дер Фогельвейде. Неудивительно поэтому, что взыскующие высокого иноземцы всеми силами стремятся попасть в Германию, дабы потом попасть в тюрьму. Особенно же россияне, учившиеся здесь некогда порядку государственных устройств, и с оных пор в языке нашем самое слово „тюрьма“ напоминает, как о некоем утраченном парадизе, о немецком „дер Турм“ – „башня“.

Вот краткие о сем предмете сведения, воспринятые мною от людей добросовестных и опытных.

Исправительные дома здесь располагаются обыкновенно в

местностях, пользующихся превосходными красотами природы и благоприятным растворением воздуха. Комнаты, чтобы упаси Бог не сказать „камеры“, чистые, светлые, изящно меблированные и на одного обитателя, хотя – при желании и взаимном согласии – можно поселиться и с любезным товарищем, деля с ним – и тем умножая – мирно-невинные досуги. Любители полезного моциона могут заняться необременительной ручной работой, вознаграждение за которую вручается им по выходе, а склонные более к умозрению вольны оставаться в своих горницах или же совершать по вечеряющим, свежо и тонко вздыхающим притюремным паркам неторопливые прогулки. Кормят просто и сытно, хотя справедливости ради следует заметить, что вечерняя булочка может оказаться и не очень свежей. Но, уж конечно, не утренняя.

Заключенные (а они всё же заключенные, поскольку должны свои комнаты запирают и ключ носить с собою) вольны принимать – или не принимать – гостей, пользоваться – или не пользоваться – библио-, фоно- и видеотекой, упражняться – или не упражняться – в легких совместных забавах тела и духа. По прошествии срока заключения возвращающийся в мир получает „от заведения“ прощальный подарок: может быть, скромный магазинчик электротоваров, или домик в Альпах, или небольшую яхту – и наслаждается во весь свой остаток жизни неизменным уважением сограждан и благосклонностью начальства.

Понятно, что оказаться в заключении, да еще и с хорошим сроком, не так-то уж просто, особенно чужестранцу. Уж чего он только ни делает, бедный, чего ни предпринимает, но, как ни пытается он привлечь внимание полицейских чиновников, усилия его чаще всего тщетны: бюрократы везде бюрократы. То предупреждением отделаются, то денежным начетом пустяковым, а то и вообще отвернутся в другую сторону – и хоть ты им марихуану прямо в очи сыпь! Но и их понять можно: им ведь тоже небось охота, да куда им, кто ж их посадит, заложников государственного долга.

В целом, однако, попадание в немецкую темницу – вещь хотя и не простая, но возможная. Похоже, что начальство при определении избранников руководствуется разумным принци-

пом, высказанным много лет назад одною женщиной, директором гастронома: „Поскольку мы не всем даем, то можем давать только желающим“. Такое сходство основоположений совершенно естественно, ведь гастроном есть такая же вершина ныне уже погибшей советской цивилизации, как и тюрьма – все еще живой – германской. А кто взял одну вершину, возьмет и остальные – уж будьте в этом уверены!

3. В ПОИСКАХ УКРАДЕННОЙ СНЕГУРОЧКИ

Помнишь, товарищ, домашнюю елку-горняшку со сбитым подолом? и другую – мрачную цыганскую барыню в актовом зале школы? Помнишь ангинозную мусорную вату магазинных витрин? и выбритые до сверкающей кости черепа площадей? Пионерскую кожуру мандаринов? Лимонадное онемение в переносице? Пожилую снегурочку с пятнистыми пятиугольными менисками, которую всё никак не могли оконательно доукрасть ни волк, ни Кощей, ни американский шпион? Не могли-не могли, а вот все же украли! ...А мы, еще существующие граждане уже не существующей державы, всёещеподданные правительственнобрового Деда Мороза, с вечным нашим национальным кличем Раз-два-три, елочка гори! – за ней, за снегуркой, рванули в чужие края: не сидит ли она, старенькая, беленькая, в бумажном кокошнике с продрысью из битого стеклышка, где-нибудь в уголку на каком-нибудь вокзале лиловой декабрьской Европы, ожидая объявления по трансляции: „Фрау Снегурочка! Пионерская дружина школы № 216 Куйбышевского района города Ленинграда ожидает Вас у пригородных касс“.

Но нет, никто ее здесь не знает, не видел. Напрасно мы сло-няемся наивными тенями в самой гуще старательного немецкого гуляния, напрасно заглядываем в оконца пивных и глинтвейных избушек, напрасно взлезаем на плоские лакированные спины карусельных лошадок – никуда они, лошадки эти, не возят, и всем кроме нас это прекрасно известно.

Но мы-то хоть знаем, кого ищем в вечерней неприкосновенной толчее, зачем обползаем мятые световые соты рождественского

уля – а они, хозяева праздника?! Чтó так сосредоточены, напряжены? кого выискивают или от кого спасаются?

Никогда не узнаешь наверное, ибо непроницаема душа чужого народа, в первую очередь для него самого. Собирается вместе немецкий народ в одном месяце года на старых площадях: в римских развалинах Франкфурта, в англизированных пассажах Ганновера, на штутгартской брусчатке, осененной неизбывным государственным величием герцогства Вюртемберг, да мало ли где еще собирается... – и пьет на ходу горячее вино, и ест кровавые колбаски, и обсеваётся сахарной пудрой от твердых бездырных пышек с резким запахом животного жира, – а какую тайную мысль хочет он высказать этим, и сам поди не знает! А ведь хочет же, хочет... Кажется, что-то вспоминает, о чем-то догадывается...

Может быть, вспоминает он страшный зимний праздник Вотана – прообраз (или праобраз?) сегодняшнего гулянья, – когда обходили береговые селенья на широких, обитых волчьим мехом лыжах молчаливые люди в алых высоких колпаках, разнося разноцветные жребии, выкинутые раскрашенными охрой, и кровью, и углем гадательными колесами. Не в честь ли колес этих кружатся на площадях расписные карусели, не в честь ли этих вестников выставлены повсюду безулыбчивые Вайнахтсманны – рождественские люди из дерева, пластмассы и шоколада? А зверские лица щелкунчиков, под выправкой отставного прусского фельдфебеля скрывающих свое родство со старыми ютландскими или рюгенскими идолами? Нет, все ж таки что-то подспудно, неосознанно невеселое есть в этом праздничном декабре, что-то плотски-темное в его леденцовом сиянии.

А последний день этого месяца и календарного года, тот, что собирал нас когда-то у столов, заставленных фужерами добротнo-щекотного советского снега, перед заснеженными телевизорами, в последний раз заклиняющими снегурочку вернуться (и она – раз-два-три... – возвращалась в последний раз со своею полночной песенкой без слов)!.. А здесь этот день выгоняет жителей на улицы и на балконы и заставляет запускать в недалекое поднебесье разноцветные ракеты – рассыпающиеся холодными искрами отвергнутые декабрьские жребии.

Но может быть, все это и не так. Может быть, озабоченность и скованность – от общечеловеческого, или, точнее сказать, общесеверного непонимания, что же такое суть развлечение и отдохновение, и стоят ли они годового труда. Быть может, ютландские жрецы и ни при чем, а все дело затеяли сети универсальных магазинов, раздувая истерическую индустрию подарков? Быть может, книжные лавки работают почти что до ночи не в память о якобы древнегерманском обычае дарить наимудрейшим вождям бычьей кожи со „Старшей Эддой“, записанной кровавыми рунами, а наихрабрейшим – волчьей с „Младшей“, а просто потому, что широко распространилось по миру мудрых мыслей золотое словцо, изреченное классическим певцом снегурочки, Алексеем Максимовичем Горьким: „Книга – лучший подарок!“?

И вообще, все эти добрые граждане просто отработывают отгулы, выписанные им на фирмах за участие в месячнике каруселизации, глинтвейнизации и поздравленческой работы, а летом – на честно заработанные деньки и деньги – куда-нибудь на Багамы, на Майорку, в песочную муку, в средиземный рассол, в романское солнечное мясо – в полновесные гамаки заслуженной сестры.

Но нашей снегурочки, кажется, нету и там.

4. КОЛЛЕГА ПАУЛЬ МИХАЭЛЬ

Советский писатель, как известно, есть существо по образу жизни стайное, дневное и хищное. Изучать его легко, так как человека оно не боится, и, даже напротив, само ластится в поисках поощрения и пропитания.

Сложнее обстоит дело с западными коллегами. Ставить ловушки на них приходится по отдельности, ибо мест массового скопления они не то чтобы предпочитают избегать, а просто мест этих на Западе пока еще несопоставимо больше, чем в России, где естествоиспытатель может с чистой совестью залечь в кустах у единственного на округу водопоя (например, в ресторане местного Дома литераторов, если его еще на спалили),

куда сходятся все стаи, – и результаты его исследований окажутся вполне корректны.

Да я бы и не взял на себя смелость делать обобщения в столь малоисследованной сфере и потому поделюсь только частными наблюдениями, могущими представить некоторый интерес для будущего компаративиста. Тем более эта тема существенна, что нынче принято в России кивать на свободу западного творчества и на разнообразные вспомоществовательные программы, уделяющие кусок от общего изобилия некупающейся и не купающейся в славе литературе. Принято думать, что свобода – это сплошное удовольствие. Что ж, удовольствие, да не сплошное, и вкус этого удовольствия может показаться с непривычки горьковат... – но, впрочем, к делу

...Коллега Пауль Михаэль сидит на корточках в жестяном тазике и льет себе на вихрастое темечко теплую воду из чайника. Это не перформанс. Коллега Пауль Михаэль моется. В его квартире нет горячей воды, а отапливается она угольными брикетами, как и многие другие дешевые квартиры в западной части Берлина.

Коллега Пауль Михаэль спит на полу, но уже четыре года, со времен его визита в Россию по командировке берлинского сената для наведения культурных мостов и литературных понтонов, простыни у него чистые, поскольку бывшие советские двадцать копеек идеально, оказывается, подходят к стиральным машинам в берлинских автоматических прачечных. Впрочем, чисты не только простыни, но и весь коллега Пауль Михаэль – в черном долгополом костюмчике, пасторской шляпе, с французским томиком Рембо во внутреннем кармане пиджака.

Коллега Пауль Михаэль – трудолюбивый человек. Он издает журнал, один из полутора-двух сотен литературных журналов столицы. Он устраивает чтения и перформансы в различных подходящих для этого местах: в маленьких книжных магазинах и еще меньших авангардных театрах, в универмагах, предварительно не спросившись, конечно, у дрожащей от шока администрации, этих Риббентропов консьюмизма, – и в упомянутых уже прачечных, где и спрашивать некого, все одно никого нет, кроме рядов стиральных машин, неутомимо проворачивающих

свои круглые застекленные желудки в тщетной надежде переварить бывшие советские двадцать копеек, которых, кстати, еще добрых полнаволочки у Пауля Михаэля в прихожей, под заклеенным автобусными и метрополитенными штрафными квитанциями зеркалом. Он честно сидит ночи напролет с полупустой рюмкой крыжовенного вина в самых ободранных барах, как то пристойно богеме. Да, еще он пишет. Пишет он пьесы, изредка исполняемые экспериментальными труппами (количество „п“, в сущности, на усмотрение читателя), и философски-юмористические эссеи, публикуемые там и сям, где не платят денег.

Итак, коллега Пауль Михаэль – существо ночное, одиночное и практически растительное. Он любит, как уже намекалось, Артюра Рембо, а также салат с сырыми шампиньонами и одинокие путешествия по ночным городам. Он ненавидит классическую литературу, пиво и детей. Впрочем, Даниил Хармс тоже ненавидел детей, даже больше, чем мертвецов, так что это никак дурно о коллеге Пауле Михаэле не говорит.

Средства на пропитание (а два раза в год и на обмундирование) получает он от системы социального обеспечения, для чего ему следует изредка являться в соответствующее учреждение и сообщать, какие еще наниматели рабочей силы отказались трудоустроить этого тридцатисемилетнего, невероятно голенастого молодого писателя с незаконченным философским образованием. Иной раз служащие собеса и сами заглядывают к нему, дабы проверить, каково он распоряжается полученными на амуницию финансами. На случай такого визита Пауль Михаэль подбирает брошенные легкомысленными клиентами квитанции различных магазинов, которые вдумчиво сортирует прямо у кассы. Шестьдесят марок в месяц на посещение борделя приходится отоваривать самому, поскольку выдаются они не наличными, а именованным чеком. Зато коллега Пауль Михаэль свободен.

Поверьте, я говорю это безо всякой иронии. Это она и есть, свобода, – пусть не сплошная, но в его обстоятельствах максимальная. Если его литературные и театральные затеи начнут приносить успех и, стало быть, деньги – свободы станет меньше, поскольку больше станет зависимости от редактора, литагента, круга общения, публики, наконец. А так и будет – я верю в кол-

легу Пауля Михаэля. Есть в нем какая-то малопонятная мне нацеленность, свернувшая некогда сына добропорядочной пролетарской семьи с проложенной поколениями колеи и ведущая его равномерно и безостановочно ночным, одиноким путем.

Но есть в этой свободе и нечто непривычное, настораживающее, даже если оставить в стороне эквилибристику со „свободой от“, „свободой для“ и всякими осознанными необходимостями, служащую окончательному уничтожению этого не нуждающегося в объяснениях понятия. Дело даже не во внешней стороне этой свободы, свободы брать деньги у общества, которое ты презираешь и которое – что важнее – относится к тебе со смесью брезгливости и жалости.

Я говорю о внутренней ее стороне – о свободе знать, что слова – это только слова, комбинации малозначащих звуков, неспособные сделать ничего, кроме как развлечь своего комбинатора и в лучшем случае пару сотен таких же, как он. Русская культура выработала отношение к этим вещам прямо противоположное. Если кто-либо не верует (как я, например) в социальную, учительную функцию слов, ему остается еще функция „магическая“ – убежденность, что пусть они и не управляют нашим миром, но на прочие миры оказать существеннейшее воздействие могут. Трезвость западного взгляда на эти материи отзывается у нас похмельным синдромом – тошнотой, головной болью и нестерпимым желанием снова выпить вчерашнего вина. Так что русской культуре – алкоголической культуре – судьба коллеги Пауля пока что не грозит, а русская цивилизация еще не скоро создаст богатства, которые позволили бы незаметно для окружающих содержать коллегу Михаэля.

...Коллега Пауль Михаэль закончил мытье. Он надевает свой редингот, нахлобучивает просвечивающую шляпу и отправляется в пеструю берлинскую ночь. Среди всего этого трудолюбивого веселья – один-единешенек со своим маленьким праздником, чуждым большому, но плоть от плоти его. Ну что с коллегой может случиться? В лучшем случае получит стипендию от Евангелического совета по поощрению региональной литературы о птицах, ну еще одну; ну, проникнет в приличный издательский дом, и число тонко развлекаемых его сочинениями возрастет с

десятков до сотен, а то и до тысячи. Соответственно возрастет и вознаграждение. Удачи ему, он ее заслуживает – хороший такой и, по всей вероятности, талантливый человек.

А мы, в смирении нашем, сочиняем для Господа Бога, хотя, как справедливо заметил Хорхе Луис Борхес, Его литературные вкусы нам совершенно неизвестны.

5. СОЦИОЛОГИЯ ЦЕЛОМУДРИЯ

Даже затрудняюсь сказать, для чего и из чего существуют в Германии магазины половых изделий с изысканным ассортиментом нательных портупей, преувеличенно бодрых фаллосов в любом материале от парафина до бронзы и каких-то шипастых цепков, некогда потерянных рассеянным пролетариатом. Кому нужны эти меланхолические раздевальни с церемониальным показом озябшей до пупырышек Жозефины Павловны (Жозефина Павловна, как известно по академическому комментарию к загадочным словам из чеховского письма: „Мерзнет Жозефина Павловна“ – „неустановленная знакомая А.П. Чехова“). И я уж не говорю о привокзальных борделях, более всего напоминающих интерьером ленинградские коммунальные квартиры коридорной системы, где мимо рассованных по узким келейкам Пенелоп несутся, заглядывая и отшатываясь, смущенные толпы платонических женихов – преимущественно иноземных беллетристов, ибо в некоторых странах к востоку от Одера все еще высоко ценятся путевые заметки с Репербана. Не иначе, как устроены все эти заведения только лишь, чтобы отмывать денежки, полученные от продажи теннисных ракеток или диетического морковного сока.

Дело-то все в том, что здесь, в Германии, телесные общения между полами свелись в настоящее время практически к нулю. То есть они, конечно, случаются, но в количестве, чья бесконечная малость никак не влияет на общестатистическую картину. Причины? Могу лишь поделить предположениями: дело, быть может, в том, что на посткапиталистическом Западе классовая борьба сменилась – соответственно – борьбой полов, и в резуль-

тате тетеньки предпочитают держаться тетенок, а дяденькам остается довольствоваться тем, что осталось. Я как-то наблюдал под Восьмое марта пылкую многочасовую демонстрацию краснознаменных лесбиянок (напоминающую конкурс красоты, как выражаются советские инженеры, „с точностью до наоборот“) и был под таким впечатлением от размаха и интенсивности движения, что, когда вечером того же дня увидел в метро целующуюся разно-полоую парочку, поймал себя на умиленной мысли: „Вот же ведь как лесбиянец с лесбиянкой подружились!“ Ну а для тех, кто еще верит в утопию полового сотрудничества, местною жизнью подготовлены препятствия экономического порядка: юноше, чтобы жениться, нужно ведь, понятное дело, скопить на кой-какой калым, а он не мал: одних „фольксвагенов“ дблжно пригнать к невестинной сакле целое стадо. В свою очередь барышне для замужества необходимо приданое, а оно чаще всего равно в стоимостном выражении тому же калыму. Вот и приходится провождать годы в безоглядном труде, бережа каждый грошик. И не успеешь оглянуться, а ты уже, как выражаются социологи, достиг непродуктивного возраста.

Самопонятно, что в условиях такой наистрожайшей экономии никакой местный житель не сорвется ни с того ни с сего покупать себе вспомогательные половые приспособления (да и на хрен они ему, только ретивое растравлять...) или лицезреть вышеописанную Жозефину, и ни тем более не станет он навещать привокзальную птичку, тоже, между прочим, собирающую на приданое в ожидании гнездовития.

Нет, самое большее – понаблюдает он в телевизоре часик под выходной баварскую эротическую фильму, способную породить отвращение ко всем этим глупостям не менее, чем на неделю, – и на одинокую боковую.

Существуют, конечно, и паллиативы. Наиболее предприимчивые и склонные к нарушению свычаев и обычаев бывает что выписывают наложенным платежом или вывозят лишних невест из некоторых развивающихся неизвестно куда стран. Но разница в брачных ритуалах приводит в таких случаях к естественному взаимонепониманию, отравляющему благополучие семейного проистекания. Я знавал одну расписную тетерку, вывезенную

по случаю несчастной любви с голодных, гулких, мордобойных московских токовищ неким по-пролетарски нетерпеливым гамбургским докером. „Вы себе не представляете!“ – восклицала единица экспорта: „Ему же лет двадцать семь, а я у него первая женщина! И вторая! И потóм – он все время мной обладает! Раз так шесть на день!“ Я осторожно высказался в том смысле, что оно вроде и неплохо, даже как-то трогательно. „Да вы ничего не понимаете!“ – горячилась она, возмущенно шевеля краснощекиными плечами: „Он обладнет – и сразу к компьютеру. Потыкает там одним пальцем, вытащит бумажку, сунет в портмонэт – и снова за свое... Я у него спрашиваю: ты чо, короче? – не говорит, головой крутит. Но я разобралась, тоже не с дерева слезла! Короче, у него там сумма, во сколько я ему обошлась: свадьба там, переезд, страховка, питание... И он эту сумму делит на количество раз. Короче, чем больше он меня натрахаёт, тем дешевле ему выйдет каждый трах!“

Ну и чего тут возмущаться? Вполне естественно, что человек, целую юность проэкономивший на розничной любви в пользу любви оптовой, желает теперь удостовериться в правильности своей экономической стратегии. Искренность его чувств к сорокалетней, сороколицей, пестрокожей, косоватой руссише фрау не подлежит никакому сомнению. Да и как же ему не быть нежным и благодарным: ведь он оказался одним из немногих счастливицков, вырвавшихся из зоны неявнопринудительного целомудрия на большие эротические просторы. А ведь мог бы, короче, и помереть девственником!

...Но если все это так, спросите вы резонно, откуда же тогда берутся дети? Ну, не знаю, не знаю... Наука еще не нашла на этот вопрос удовлетворительного ответа.

6. ГЕРМАНИЯ КАК ЕЕ НЕТ

В 1805 году граф Ян Потоцкий, автор знаменитого романа „Рукопись, найденная в Сарагоссе“ – пародийно-мистических походов вокруг двойной виселицы – выпустил еще и книжечку под названием „Древняя история Подольской губернии“, где,

по основательном исследовании имен германских градов и весей, рек и гор, умозаключил, что все земли между Эльбой и Везером, а также часть Франконии были обитаемы некогда (и не столь уж давно – века три-четыре назад, считая от 1805 года) славянскими племенами венедов или сербов.

И дело пошло. Метод ясновельможного историкуса был развит и усовершенствован много кем, упомянем лишь, чтобы далеко не ходить, этимологические штудии незабвенных Алексея Югова (открывшего, если помните, древлесславянское происхождение Ахилла, Пелеева сына, с его гневом и затянутыми в рюмочку мирмидонцами) или Владимира Чивилихина (положившего своим рюриковедческим романом-эссе „Память“ основание несколькими симпатичным научным обществам по расследованию топонимики, генеалогии и геральдики). И теперь нам с вами, простым любителям исторических загадок, вовсе не нужны – после коллективных усилий нескольких поколений – ни энциклопедическая образованность, ни беллетристическая изощренность несчастного графа для того, чтобы не только подтвердить им сказанное, но и несколько его дополнить. Ну, Лейпциг – Липецк, Дрезден – Дроздень, Карл-Маркс-Штадт – Кемниц, – это все лежит на поверхности, яснее, можно сказать, ясного. А вот что вы скажете о Штутгарте – древнем Студгороде, столице застывшего в ледовитом тумане великого славянского княжества Вюртемберг? Или взять Нюрнберг, счастливо разгаданный одним моим ученым знакомцем как „Нюрин берег“?.. Или еще дальше на запад, выскользая даже за пределы нынешней федеративной республики: Женева – „Жениво“ – место, куда жениться езживали...

Упаси меня Бог даже от подозрения в выставлении каких бы то ни было территориальных претензий к Германскому, Австрийскому, ниже Швейцарскому государствам – теперь-то мы все уже очень хорошо знаем: чем больше пространства, тем больше хлопот и неприятностей в результате. Пусть уж их, басурманов, пользуют, черт с ними. Но некий вопрос законно возникает перед нашим встревоженным воображением: а куда, собственно, подевались все эти „венеды или сербы“, населявшие, как мы выяснили, не только что земли между Эльбой и Везером и

еще какую-то там часть Франконии, но и районы премного обширнейшие на юге и западе, за исключением, быть может, незначительных островков древнеримской цивилизации? Кстати, о древнеримской цивилизации, пусть это и выходит сейчас за рамки нашей проблематики: с прекрасной Италией дело тоже нуждается в дополнительном изучении: не населяли ли и ее некогда, помимо неизвестно откуда взявшихся волчьих выкормышей-римлян, вышеозначенные сербы и венецы, что применительно к Венеции является установленным фактом, но... – милый Милан или непрочновыстроенная Падуя, но беленые мазанки Болоньи или Синьор Великий Новгород, – в диком поле заложенный Неаполь – не населяли ли и вас в древности ветхой, но недалекой те таинственные народы, что, стучая себя в задрапированные тогами груди, приговаривали страстно: „Эт-т русски..!“?

Воротимся, однако же, в наши квазитевтонские пределы. Три-четыре века от 1805 года (15-16 вв.) – времена ведь вполне исторические, в крайнем случае летописные. Ежели бы случилось о ту пору какое-никакое великое переселение германских племен на обозначенные территории, уж как-нибудь были бы мы с вами о сем известны. А ежели не было переселения и последующего истребления или изгнания автохтонов, то куда, повторяю, подевались наши венецы или сербы (кроме лужицких), и откуда, собственно, взялись эти самые так называемые „немцы“, коих непредубежденный путешественник может здесь встретить практически на каждом шагу?

Ответ на этот кажущийся заковыристым вопрос на самом деле чрезвычайно прост и легко подсказывается методом, специально выработанной отечественной наукой для подобных случаев. „Таджики – это узбеки, а узбеки – это таджики, только сами этого не знают“, – рассказывал посетителям своих лекций на геофаке Ленинградского университета покойный профессор Лев Николаевич Гумилев – лет уже этак двадцать тому. „Румыны – единственные настоящие итальянцы, итальянцы – это просто-напросто североафриканские семиты, североафриканские семиты – это восточномалайские арийцы, и так далее; и представьте себе, никто об этом, кроме небольшого круга посвященных, даже и не подозревает.“

Так что дело ясное: никуда наши венецы или сербы не девались, а как населяли, так и населяют, только что обучились поголовно немецкому языку и в простоте душевной так и полагают себя немцами. „А немцы-то где?“ – возопит привычный к этнографической рутине читатель: „Нет никаких немцев, что ль? А кто же тогда обезьяну выдумал?!“ – „Ну отчего же нет“, – ответим мы ему очень спокойно, потому что в глубине души боялись совсем другого вопроса: „Как же это им удалось немецкий выучить в таком массовом порядке, ведь еще Набоков со знанием дела заметил где-то, что русские-де плохие лингвисты?“ Но этого вопроса слава Богу не встало, и мы торопливо отвечаем на первый: „Ну отчего же немцы не существуют? Прекрасненько себе существуют, хотя насчет обезьяны вопрос спорный и мы его здесь касаться не будем. А существуют немцы там, где и всегда существовали: в Дании, где же еще! Живут себе немцы в Дании, дуют датское пиво, проваживают датских догов и лишь изредка совершают краткие поездки в Англию, чтобы собрать датские деньги и удостовериться в том, что Розенкранц и Гильденстерн действительно мертвы. А в Германию немцы и не ходили, чем им плохо в Дании. Ведь Дания, как известно, тюрьма, а стало быть, место хорошее, что уже не требуется доказывать публике, ознакомленной с одним из наших предыдущих очерков. Немецкий язык занес на сербовенедские просторы норвежец Фортинбрас, пробежавший с ордой наемных горлопанов через Данию в Польшу и обратно. Язык этот – и сие может вам подтвердить любой языковед-германист – просто-напросто сильно испорченный датский, и распространился он по Европам при посредстве модных тогда эддических преданий и скальдических припевок – примерно так, как распространяется сегодня по миру англоамериканский, при помощи голливудского кино и робингудских рокнроллов.

ИЗРАИЛЬСКИЙ РАЗВЕДЧИК В НЕОНАЦИСТСКОМ ПОДПОЛЬЕ

20 апреля 1993 года в скромной квартире в Мельбурне часа в четыре утра раздался телефонный звонок. Пожилая женщина подняла трубку.

– Алло! Кто говорит?

– Мама, – раздался голос на другом конце провода. – Что-то у меня голова болит...

– И поэтому ты звонишь мне в три часа ночи из Тель-Авива?! Прими панadol. 40 лет, а все еще ребенок.

– Мама, я не в Тель-Авиве.

– А где?

– Я в Нью-Йорке. Сегодня вечером обязательно посмотри новости.

– Что?.. Что случилось? Как дети? Ты здоров? Как дома? Все в порядке?

– Все в порядке. Все в порядке, мама. Посмотри телевизор, и ты сможешь гордиться своим сыном!

Этот разговор произошел за несколько часов до пресс-конференции, на которой израильский журналист Ярон Сворэй выступил с разоблачением неонацистского подполья в сегодняшней Германии. Он огласил имена более 80 высокопоставленных лиц: членов Бундестага, бизнесменов, политических деятелей, врачей и адвокатов, людей большей частью образованных, интеллектуалов и, в то же время, активных участников и сторонников германского неонацизма. Информацию о них, рискуя жизнью он добыл из первоисточника, проведя восемь месяцев в неонацистских кругах под вымышленным именем.

На пресс-конференции Ярон Сворэй прежде всего предупредил репортеров: – Не превращайте то, что я сейчас расскажу, в такой дешевый боевик типа Рембо. Дело гораздо серьезнее.

Чисто внешне он мало похож на Рембо, хотя довольно плотно сбит (около 100 кг, рост 180 см) и весьма атлетичен. Будучи офицером в израильской армии, неоднократно участвовал в боевых операциях. Возраст – 40 лет, по характеру – экстраверт, легко находит общий язык с людьми. Принцип жизни – здравомыслие, хотя и с привкусом авантюризма. Возможно, именно склонность к авантюризму и еще боль за свой народ толкнули Ярона на этот многомесячный рейд.

По профессии юрист и журналист, женат, имеет троих детей. Учился несколько лет в Маунт Скопусе, в Мельбурне. Вернувшись в Израиль, служил в армии, после этого целиком посвятил себя газетной деятельности – работал журналистом-расследователем для серьезных израильских и американских изданий.

Будучи в очередной раз в США, он встретился с представителями открывающегося в Америке музея Еврейской Катастрофы (Холокоста). Узнав, что журналист собирается лететь по своим делам в Европу, они попросили его найти и купить для музея оригинальный дневник фашистского солдата – как экспонат. Сворэй, конечно, согласился. После беседы к нему подошел незнакомый еврей, из тех, у которых всегда есть что сказать, и предложил ему заработать пару миллионов. Сворэй, весьма уместно, сослался на головную боль. Еврей развел руками и произнес с показной наивностью: почему бы еврейскому парню, который и так летит в Европу, не поискать золото на 5-10 миллионов, которые в 30-х годах зарыл в Лотарингии некий еврей, бежавший из Германии? Такая постановка вопроса несколько поколебала природный скептицизм журналиста. Это, в конечном итоге, изменило маршрут его европейского путешествия, первоначально не выходявшего за пределы Франции. Забегая вперед, можно сообщить, что природный скептицизм был совершенно оправдан, но это уже не столь важно, поскольку результат его европейского турне по своему общественному резонансу стоил не меньше.

Итак, Сворэй прибыл в Эльзас-Лотарингию, исторически спор-

ную территорию Франции, жители которой больше немцы, чем французы.

В поисках дневника и по другим делам он знакомился с разными людьми, представляясь американцем. Среди его знакомых появился один весьма уважаемый немец, лет 70-75, который неоднократно приглашал Ярона к себе в дом. Он был местным историком, а Сворэй как раз и интересовали аспекты истории этого района. На этом и сошлись. Однажды в минуты откровенности собеседник Сворэя решил поведать гостю о своей боевой молодости.

– Я служил в лучшей армии мира, – заявил он.

Мысленно воздав должное скромности собеседника, Ярон сказал, что и он служил в лучшей армии мира, уместно не упомянув, что это израильская армия. Старик снисходительно улыбнулся.

Как выяснилось, хозяин служил, ни мало ни много, в элитарных гитлеровских войсках СС, в дивизии „Мертвая Голова“. Сворэй знал, что это были особые части, принимавшие непосредственное участие в „окончательном решении“ еврейского вопроса.

В течение нескольких часов старик рассказывал ему подробности своей военной службы. Сворэй слушал его с непроницаемой маской обывательского любопытства на лице, ничем не выдавая, что отдельные детали повествования рассказчика больно ранят его. (Мать Ярона была узницей Освенцима.)

Умение слушать было отмечено. – Вы, я вижу, серьезно интересуетесь историей, – сказал ему хозяин на прощание. – Я могу дать вам адрес моего племянника, живущего в Германии. На мой взгляд, он занимается полезным и нужным сегодня делом. Вам стоит с ним встретиться.

Поскольку Сворэй все равно собирался заехать в Германию, он взял адрес племянника. На встречу с ним Сворэй решился неожиданно для себя самого. Двигал им уже не просто профессиональный интерес. Его возмутило и то, что зло осталось безнаказанным, и особенно сквозившая в рассказе бывшего эсэсовца гордость собой.

...Племянник оказался крепко сбитым 22-летним парнем. Вы-

сокий, голубоглазый, короткостриженный блондин с татуировкой на шее и на руке.

– Мы быстро сдружились, – вспоминает Сворэй, – потому что ему понравился мой интерес к искусству и знание сегодняшнего кинематографа Германии. Он пообещал мне показать „кое-что“ интересное. (Как выяснилось позже, племянник был лидером неонацистской группы во Франкфурте. Вернувшись во Францию, Сворэй отправил статью об этой встрече в израильскую газету „Маарив“.)

Через несколько дней по телефону тот пригласил Сворэя в „клуб любителей кино“. – Для тебя это будет уникальная возможность приобщиться к новому в искусстве кино, – сказал он.

Клуб находился в небольшом баре. „Мы вошли в полутемную комнату, – рассказывает Сворэй, – в комнате на кожаных диванах сидело несколько человек нордического типа, крупного телосложения – типичные наци. Мой спутник обошел их всех (как он потом объяснил, собирал деньги за билеты). Я отметил, что каждый давал более тысячи марок. Дороговаты билеты, подумалось мне. Затем он раздал всем майки с написанными на них нацистскими лозунгами и сел. В комнате погас свет, и включился кинопроектор. Пошли титры, затем на экране появился Гитлер, говорящий речь. Снят он был в таком ракурсе, что, казалось, он обращается прямо к тебе. Кадры его речи перемежались с современными кадрами, где полуголые девицы извивались в диком экстазе. Создавалась обстановка повышенного возбуждения. Потом вдруг на экране возникли пять молодых мужчин, насилующих восьми-девятилетнюю девочку. Это было показано очень подробно, с плачем и криками жертвы. Когда последний закончил свое дело, он поднял ребенка за волосы и ножом убил его.

Я был настолько потрясен увиденным, что не мог пошевелиться. Не меньше, чем увиденное, меня потрясла реакция зрителей. Они возбужденно вопили, и я видел, что, будь они на месте тех, экранных, – делали бы то же самое.

Состояние было настолько подавленным, что я в тот же день вернулся во Францию и вылетел в Израиль, чтобы обнять жену и детей.

Именно тогда я понял, что это очень серьезно. Кто-то усиленно, не жалея средств, снова пытается воспитать „сверхчеловеков“, готовых переступить нравственные пороги и выполнять любые приказы людей, которых и людьми-то называть нельзя.

Я решился продолжать и поделился с женой. Она меня поддержала.

Сворэй обратился в американское отделение Центра Симона Визенталя с просьбой помочь и субсидировать его расходы по расследованию.

Намеченный план расследований включал оценку реальной силы и распространения неонацистских группировок в Германии, их финансовых источников и связей с крайне правыми кругами США, если таковые имеются.

В октябре 1992 года Я. Сворэй вылетел по своему настоящему паспорту, но уже в набирающем высоту самолете это был не израильский журналист Ярон Сворэй, а австралиец – Рон Фрэй. Под этим вымышленным именем ему предстояло провести 8 месяцев „своим среди чужих“.

Сын беженцев из Румынии и Германии, Сворэй жил долгие годы в США и Австралии и потому в совершенстве владеет английским языком, хотя и имеет легкий акцент. Он решил выдать себя за австралийца, благо некоторое время жил в Мельбурне.

Имея самую общую информацию о неонацистах, Сворэй начал с того, что сделал бы любой репортер, – он встретился с человеком по имени Гейнц Рейц, которого пресса упоминала как значительную фигуру в крайне правых кругах. Сворэй просто пришел к его дому и позвонил в дверь. Хозяину представился как журналист, берущий интервью у ведущих неонацистов для некоего англоязычного журнала „Правый путь“ (На самом деле такого журнала не существует. Идея журнала была предложена американским Центром С. Визенталя. А для поддержки ее была зарегистрирована в этом центре дополнительная телефонная линия и выделен специальный человек, постоянно находящийся у телефона на случай, если понадобится подтверждение. Как мы увидим позже, это был мудрый шаг, который, правда, чуть не стоил жизни Сворэю.)

Беседуя с Рейнцем, Сворэй, как бы между прочим, заметил,

что он – нечто большее, чем просто любопытствующий журналист: он разделяет идеи нацизма и связан с влиятельными людьми в США, заинтересованными дать движению хорошую прессу. Рейнц заглотал наживку.

Все последующие месяцы Рейнц был постоянным спутником Сворэй. Они вдвоем пересекли всю Германию и встретились с сотнями неонацистов. Рейнц был главным лицом в движении, называл себя „самым большим барабаном“, знал многих и организовывал встречи с высшим руководством.

Все интервью Сворэй записывал открыто или умело спрятанными диктофонами и на следующий день отсылал в Центр Визенталю.

Довольный в целом успехом сделанного, Сворэй тем не менее хотел выйти на самую верхушку германских неонацистов. С этой целью он решается на вторую поездку в Германию, на этот раз прибывает с неофашистским „американским“ сувениром – экземпляром журнала „Правый путь“, специально изготовленным для этой цели в Центре Визенталю. Тогда-то и была пущена идея о некоем американском „друге-миллионере“, желающем финансировать растущее движение правых в Германии. Такая новость не могла не обрадовать немецких „единомышленников“

Для пущей убедительности Сворэй слетал в Америку и вернулся, сопровождаемый „другом-миллионером“, в роли которого выступил исследователь и аналитик Центра Визенталю Ричард Итон, специалист по американским экстремистским группам.

Круг знакомых стал шире, когда Рейнц познакомил их с малоизвестными неонацистскими группами и даже с так называемыми „живыми иконами“: вдовами и детьми бывших высших нацистских преступников, которые продолжают вдохновлять новое поколение нацистов.

Всего за это время Сворэй встретился с 250 лицами, на 48 из которых он завел досье.

Наиболее важным из них, по мнению Центра Визенталю, является некий Вольфганг Йоахим. В отличие от большинства лидеров движения, он имеет исключительно чистую биографию

и 30 лет безупречной службы в армейской разведке. Высокий и симпатичный, вращающийся в высших политических кругах, он, как говорит Сворэй, наиболее американизированный из всех неонацистов, которых тот встречал. Он не позволяет себе открыто высказывать свои радикальные взгляды на публике, прекрасно адаптируется к обстановке, но, когда они оставались одни, он, например, запросто мог сказать: „Недостаточно много евреев погибло во время войны“.

Йоахим официально не является лидером ни одной из неонацистских фракций, но уверяет, что имеет негласную поддержку десяти тысяч немцев, а финансовую поддержку ему оказывают две тысячи человек.

Он часто выступает с лекциями в школах и общинах, большей частью в бывшей Восточной Германии, – перед группами в 200-400 человек, по несколько раз в неделю. Он фокусирует внимание на экономических проблемах, в мягкой манере поощряя антиэмигрантские настроения, и настойчиво проводит мысль о сильном лидере. Он пользуется уважением как среди крайне правых, так и среди представителей легальных политических структур. Германский Департамент по защите Конституции – организация, призванная наблюдать за деятельностью крайне правых в стране, – явно недооценивает личность Йоахима, заявляя, что он никогда не имел и не имеет поддержки от неонацистов. Сворэй утверждает, что Йоахим говорил ему неоднократно, что в своих планах для Новой Германии рассчитывает на бритоголовых.

– После того, как мы придем к власти, – говорил Йоахим, – бритоголовые вырастят волосы, прикроют свои татуировки и станут новыми штурмовиками для правящей партии.

Сворэй также интервьюировал Мейнгольфа Шенборна, лидера Националистического Фронта, крайне правой группировки, запрещенной в ноябре 1992 года. Хотя правительство определяет членство группы не более чем в 150 человек, Шенборн заявляет, что в его группе около 8600 членов. Сворэй понимает, что Шенборн и другие лидеры неонацистов преувеличивают число своих сторонников, и несомненно, могут быть разночтения между их данными и правительственными, но эти цифры, по крайней

мере, должны быть проверены. Шенборн говорил Сворзю, что намеревается свергнуть германское правительство и установить 4-й Рейх. Чтобы избежать правительственного наблюдения, он планирует создать тренировочные центры в Голландии. Шенборн передал Ричарду Итону перечень предложений и пожеланий – для его предполагаемого центра, который вместе с оборудованием и пропагандистскими материалами будет стоить около полутора миллионов немецких марок. Сворзэй характеризует Шенборна как сильного и решительного человека, способного на насилие. Его главная цель – повести за собой молодое поколение от 16 до 24 лет. Он распространяет ненависть к эмигрантам и евреям. Самое опасное, что его „революционные“ идеи находят отклик в сердцах юнцов – ведь в этом возрасте бунтарское чувство переполняет человека.

Сворзэй также встречался с Фридрихом Бассе, ветераном немецких крайне правых и лидером Дружеской немецкой рабочей партии, декларируемая цель которой – установление национал-социализма в стране.

Бассе, который находился некоторое время в заключении за пропаганду расизма и межнациональной вражды, является сторонником скрытого насилия и полностью полагается на бритоголовых. Он восхищается Гитлером, отрицая Холокост, мечтает свергнуть германское правительство и имеет тесные связи с так называемыми „живыми иконами“.

Однажды во время беседы Бассе показал Сворзю список членов его группы, насчитывающей 980 человек, в то время как правительственный департамент, следящий за запрещенными законом организациями, утверждает, что группа Бассе насчитывает всего 200 членов.

Когда Сворзэй скептически посмотрел на лист, Бассе предложил ему указать на любой телефонный номер в списке, чтобы убедиться в его точности. Сворзэй указал на одну из фамилий, и Бассе набрал номер. – Когда человек на другом конце провода поднял трубку, – вспоминает Сворзэй, первое слово, которое произнес Бассе, было ШАЛОМ. Я просто похолодел. Они кощунственно использовали еврейское слово приветствия как пароль.

Сворзэй неоднократно был свидетелем лояльности к неона-

цистам германской полиции. Рейнц уверял, что среди полицейских много неонацистов. Даже если это и преувеличение, сочувственное настроение все же налицо. Сворзэй рассказывает:

– Когда полицейские останавливали нас, они всегда были дружелюбны. Все знали Рейнца, подмигивали ему, по-братски хлопали по плечу, но никогда в присутствии посторонних. Рейнц по телефону получал информацию от неизвестного мне помощника в полиции, если планировался рейд.

Совершенно случайно было обнаружено, что существует связь между немецкими неонацистами и крайне правыми в США.

Центр Визенталя установил телефонную линию для звонков по фиктивному журналу „Правый путь“ на случай, если кто-либо из Германии пожелает проверить его существование. Однажды последовал звонок, но не из Германии, а из американского псевдоисторического института, опровергающего уничтожение шести миллионов евреев во Второй мировой войне. – Случай этот едва не стоил мне жизни, – рассказывает Я. Сворзэй. – Именно в тот момент женщина, чья обязанность была следить за этим телефоном, вышла. Как принято на Западе, любой, отвечающий по телефону, сразу же называет имя организации. Но случилось необычайное: сотрудник, не зная, что это за телефон, но информированный, что с этим телефоном что-то связано, не представил организацию, а просто спросил, кто звонит; к счастью, пришла ответственная сотрудница, и все прошло как надо. Но...

Выяснилось, что звонил американец из Штатов, а телефон Сворзэй давал только немцам, – то есть выяснилась связь американских правых с германскими неонацистами. Факты, найденные Сворзэем, говорят о том, что поднимающее голову неонацистское движение в Германии гораздо шире, чем предполагалось.

– Я думал, – говорит Сворзэй, – что найду безмозглую банду бритоголовых пьяниц и хулиганов, которые от нечего делать избивают турецких парней. Но оказалось, что бритоголовые – лишь внешнее проявление неонацистского подъема. Я встречался там с большим количеством людей, принадлежащих к среднему классу, которые рады были открыть мне, что они нацисты,

и желали бы видеть Вольфганга своим новым фюрером. Германские власти недооценивают (сознательно или нет) серьезность угрозы нацистов, официально находящихся вне закона. Сворэй говорит о тысячах неонацистов, в то время как официальные источники – о десятках и сотнях.

На своей пресс-конференции в Нью-Йорке Сворэй задал риторический вопрос нескольким сотням журналистов: – Почему израильтянин с риском для жизни должен делать то, что следовало делать германским властям, имеющим для этого все легальные полномочия?

Не раз за время пребывания в Германии Сворэй бывал близок к провалу, подобно тому как это произошло с телефонным звонком по поводу несуществующего журнала „Правый путь“ в Центр Визенталя. Эмоциональное истощение с нервами на пределе приводило иногда к тому, что в середине разговора он начинал переходить на иврит. К счастью, это случалось редко. Но был случай, когда Шенборн взял его с собой в тренировочный лагерь для своих боевиков. Сворэй чуть не погубил себя, когда воскликнул: – Это выглядит точь-в-точь, как Махане Шмоним!.. (один из тренировочных лагерей в Израиле). Шенборн переспросил, что его „друг“ имеет в виду. Сворэй быстро нашелся: – Это выглядит так же, как в Форте Брэгг под Нью-Йорком, – сказал он. Все обошлось. Шенборн, конечно, не мог знать, что такого Форты не существует.

В общем, войдя однажды в доверие Рейнца, Сворэй был автоматически принят всеми неонацистами, с кем бы он ни встречался.

Сворэй говорит: – Если ты уже вышел на номер 5, то можно смело говорить, что ты знаком с номерами 1, 2, 3 и 4.

Тем не менее Ярон старался обходить людей, задающих слишком много вопросов. Иногда дело доходило до того, что он резко поднимался и, демонстрируя обиду, делал вид, что собирается уходить. Перед ним сразу же извинялись и просили остаться.

Иногда приходилось прямо-таки физически доказывать безупречность своей репутации. „Это были своего рода мальчишеские забавы, – вспоминает не без удовольствия Сворэй. – Мне

таки пришлось отправить пятерых нацистов в госпиталь, а двое из них задержались там надолго“.

Фиктивный Рон Фрэй имел характер простого малого без комплексов. Такой имидж позволял Сворэю разыгрывать перед нацистами идиотски-наивную восторженность, что служило ему более надежной маскировкой, чем если бы он был самим собой – уравновешенным и красноречивым человеком.

Было и такое. Сворэй, начиненный звукозаписывающей аппаратурой, должен был быть представлен одному из значительных нацистов, Бассе. Оказалось, что тот стоял на возвышении, окруженный телохранителями, которые ощупывали каждого подходившего. Сворэй мгновенно сориентировался, он широко раскинул руки и, изобразив восторженную улыбку, выражающую счастье, выступил вперед и обнял Бассе вокруг пояса. Положив свою голову ему на живот, Сворэй воскликнул: „О, да ты такой же толстый, как и я. А я думал, что ты стройный, как Гитлер“. Кто мог всерьез принять этого недалекого простака?

Между тем приближался день, когда они должны были узнать, кто же такой Рон Фрэй.

Когда Сворэй с Ричардом Итоном вернулись в США после четвертого и последнего путешествия в Германию в апреле 1993 года, они позвонили Вольфгангу Йоахиму, который беспокоился об обещанных денежных средствах. Они заверили его, что ко дню рождения Гитлера он и его немецкие единомышленники не будут иметь и тени сомнения в искренности их американских друзей.

Именно 20 апреля Ярон Сворэй созвал в Нью-Йорке пресс-конференцию, где обнародовал перед мировой общественностью результаты своего расследования.

Публикация подготовлена Ю. Обоевым и М. Гаринным

*(Напечатано с любезного разрешения
русскоязычного журнала «Антипод»,
Мельбурн, Австралия).*

ОБ АНТИСЕМИТИЗМЕ В ГЕРМАНИИ

Антисемитизм в Германии – тема не столько болезненная, сколько привычная. Пятьдесят лет назад гражданам Третьего Рейха, пережившим военную катастрофу, предъявили преступления их правительства. Им объяснили – это ВАШИ преступления, независимо от того, знали Вы о них или нет. В этом был свой резон, моральную ответственность за преступления нацистов несли все, кто нацистов поддерживал. Моральную ответственность переняли и потомки. В Германии выросло уже несколько поколений людей, полагающих, что ничего более страшного, чем Третий Рейх, в природе не существовало и существовать не могло. Иногда обостренное чувство вины за собственную историю приводит к парадоксальному нежеланию взглянуть на нее реально. Мне приходилось безуспешно убеждать своих немецких собеседников, что и у нас, советских людей, прошлое не лучше, что шесть с половиной миллионов евреев и цыган весят на весах истории не больше, чем шестьдесят миллионов „классовых врагов“. И единственная разница в том, что пока нас ими никто не попрекает.

Ужас перед прошлым часто заставляет придавать каждой хулиганской выходке с расистским душком символический характер, искать причину в фатальной склонности немецкой души к антисемитизму. За спиной правых экстремистов, которых достаточно в любой демократической стране, маячит тень Гитлера, за их выходками, вроде разбивания памятников на еврейских кладбищах, чудится Освенцим. Антисемитизма в Германии бояться все. Что он собой представляет реально? – это вопрос, на который мало кто может ответить.

В октябре 1995 года мне довелось участвовать в передаче „Комментаторы за круглым столом“ на радио „Свобода“. Тема обсуждения: „Антисемитизм в Германии“. Ведущий передачи находился в Праге, остальные трое участников в Берлине, Мюнхене и Тель-Авиве. Все – бывшие советские эмигранты. Трое живут в Германии много лет. Гораздо более интересным, чем сама тема, мне показалось то, КАК она обсуждалась.

На мой взгляд, такой отдельной проблемы, как „антисемитизм“, в Германии нет. Есть общая проблема – ксенофобия, которая более или менее успешно решается полицейскими и воспитательными мерами. Во всяком случае успешнее, чем во многих других цивилизованных странах. Нет признаков роста расистских тенденций в обществе. За отдельными выходками расистов, даже самыми страшными – вроде поджогов общежитий иностранцев, – не стоят организации, обладающие хотя бы минимальным политическим влиянием. Школы от этой заразы свободны. Общественное возмущение по поводу каждой выходки расистов свидетельствует о нетерпимости, а не о попустительстве им (можно сравнить, например, с реакцией российской прессы на преследования кавказцев).

Мои оппоненты видели ту же ситуацию совершенно иначе. Никто из них, по собственному признанию, за годы жизни в Германии с бытовым антисемитизмом не сталкивался. При этом в существовании массового латентного антисемитизма они не сомневались. В доказательство приводились те же случаи осквернения еврейских кладбищ. И горячо говорилось об опасности антисемитизма, которую нельзя недооценивать. Конечно, нельзя. И переоценивать тоже нельзя. Лучше всего пытаться оценивать объективно. Эмоциональный настрой, при котором сама мысль о том, что антисемитизм в Германии может идти на убыль, воспринимается как потеря бдительности, и это вряд ли способствует лучшему пониманию реальности.

Мы обсуждали гипотетический латентный антисемитизм в Германии в передаче для бывших советских граждан, то есть для публики, сверх меры зараженной не латентным, а самым натуральным национализмом и расизмом. И не давали ей при этом никаких точек отсчета. Как много в России фашистских и расистских партий, как сильны национальные противоречия, хорошо известно. Уровень расизма среди советских эмигрантов намного выше допустимого среднего уровня для любой цивили-

лизованной страны. Если бы наша дискуссия свелась к обсуждению уровней расизма в Германии, России и Израиле (а квалификации участников на это вполне бы хватило), то вопрос о немецком антисемитизме скорее всего сам собой потерял бы остроту.

То, как тема „антисемитизм в Германии“ обсуждается эмигрантами из России, часто напоминает борьбу советского правительства за права человека в странах Запада. Иными словами, охоту даже не за ведьмами, а за призраками ведьм. Причем, с заранее известным положительным результатом. И эта передача не была исключением. Выражается, например, ритуальная озабоченность тем, что на последних выборах в Берлине за „республиканцев“ голосовали четыре процента населения, будто сам автор этих слов не знает, что четыре процента (а на самом деле 2.9%) – это политическое поражение шовинистов, что тенденции к росту у них нет, наоборот, есть снижение. Пять лет назад республиканцы получили три процента по Берлину и в нескольких районах прошли в муниципалитеты, набрав более пяти процентов. Зато в 1995 году не смогли провести ни одного депутата. Как не упомянуть, что это вполне нормальный для демократической страны процент присутствия националистов на политической сцене и что республиканцы, в конце концов, хоть и малосимпатичны, но совсем не неонаци. Опустить такой комментарий – значит ввести публику в заблуждение. Или обсуждается осквернение еврейских кладбищ. При этом оно никак не ставится в связь с достаточно высоким уровнем юношеского вандализма, хулиганством на немецких кладбищах (это достаточно обычная вещь) или порчей оборудования в вагонах метро. Заранее известно, что массовый антисемитизм в Германии наличествует, надо только уметь его обнаружить. Такое умение легко превращается в профессию.

Представим себе, что немецкое радио устроило обсуждение массовой латентной склонности русских (всех русских, то есть и нас с вами) к ненависти к капиталистам, кулакам и страсти к доносу. Оснований для этого было бы намного больше, все-таки пять лет прошло, а не пятьдесят. Да и степень вовлеченности советских людей во всевозможные преступления режима намного выше, чем у немцев во времена Третьего Рейха, – и в процентах, и в абсолютном выражении. Тем не менее это выглядело бы и нелепо, и оскорбительно. Мы бы первые и возмутились.

Вполне возможно, что признаки роста ксенофобии в Германии есть. Так и обсуждать эти признаки надо всерьез, сравнивая и анализируя, а не пользоваться ритуальными заклинаниями. В противном случае мы только подливаем масла в огонь национальных противоречий. И цифрами пользоваться надо аккуратно. Мне неоднократно приходилось читать и слышать, что больше двадцати процентов немцев – антисемиты, так как не захотели бы иметь соседями евреев. Цифра эта восходит к социологическому опросу, который провел журнал „Штерн“ в 1986 году. Там был вопрос о предпочтениях в выборе соседей. В отношении соседства с евреями опасения высказали 22% опрошенных (с высшим образованием – 14%, без – 28%), соседства с арабами – 57%, с неграми – 31%, с китайцами – 28%. Это говорит не столько о расизме, сколько о различиях в представлениях об образе жизни. Иначе пришлось бы считать расистами ВСЕХ советских эмигрантов. Среди них практически нет желающих селиться в турецких районах Берлина. О том, что приведенные цифры нельзя истолковывать однозначно как показатели расизма и антисемитизма, можно судить по ответам на другие вопросы. В частности, опасения в успешности брака немки с евреем высказали 11% опрошенных, с англичанином – 15%, с черным африканцем – 46%, с арабом – 62%. Следует ли полагать, что ненависть к англичанам в Германии выше, чем ненависть к евреям? Абсурд. И сколько все-таки антисемитов – 22% или 11%? В данных опроса есть еще масса интересного. Например, слово „антисемитизм“ позитивно воспринимают 6% опрошенных. Скорее всего, последняя цифра близка к реальному числу антисемитов. Авторы опроса считают, что рост антисемитизма в Германии не наблюдается, наоборот, есть тенденция к снижению, особенно если учитывать распределение мнений в возрастных группах. Опрос проводился в 1986 году, и нет оснований полагать, что за 10 лет ситуация ухудшилась. Не учитывать данные таких опросов в дискуссиях об антисемитизме в Германии нельзя. Тем более нельзя, как это сделал в своем интервью Игнац Бубис, председатель Центрального Совета евреев Германии, публично заявлять, вырывая отдельные цифры, что в Германии 30% антисемитов.

Спекулировать на теме антисемитизма в Германии очень легко. Тема беспроектная, учитывая недавнюю историю и чувство вины, на котором воспитывались послевоенные поколе-

ния немцев. Чувство, конечно, благородное, но сколько же можно это эксплуатировать? Сколько можно внушать людям, выросшим в демократической цивилизованной стране, что они виноваты по факту рождения? Уже после передачи я беседовал с одной молодой немецкой журналисткой. Она сказала, что когда встречается с разговорами о коллективной вине немецкого народа (за границей такое время от времени происходит), для нее это сигнал прекращать знакомство из-за недостаточного духовного развития собеседника. И я с ней полностью согласен.

Результаты политических спекуляций на антисемитизме могут быть самыми парадоксальными. В Баден-Вюртемберге, например, полиция отказывалась выезжать на пьяные драки в общежитиях еврейских эмигрантов из СССР: это для них было слишком опасно. Публикация случайных фотоснимков того, как немецкие полицейские утихомиривают евреев, могла бы доставить им неприятности и вызвать очередной прилив борьбы с антисемитизмом по всей стране.

Антисемитизм в сегодняшней Германии менее реален, чем другие национальные фобии, из-за отсутствия не только евреев, но и внятных представлений о том, что такое евреи. Особой еврейской этнической общности со своим языком, культурой, бытовыми привычками в Германии нет. Немногочисленные религиозные иудеи, среди которых есть и свежее обращенные немцы, на общем культурном фоне никак не выделяются. Да и не принято в Германии интересоваться вероисповеданием сограждан – это дело сугубо интимное. Несколько десятков тысяч так называемых еврейских эмигрантов из стран СНГ – для немцев публика абсолютно загадочная и толком не идентифицируемая. Определять принадлежность к народу по крови в Германии уже давно отвыкли. Религиозных среди нас – единицы. Язык и культура – русские. Декларации еврейских активистов насчет еврейского самосознания эмигрантов вызывают у тех, кто с этим сталкивается – в основном журналистов – опасливое удивление. Впрочем, я не исключаю, что резко националистическая политика еврейских религиозных общин, пытающихся взять всех эмигрантов под свое крыло и препятствующих как сохранению их собственной культуры, так и интеграции их в немецкое общество, сможет рано или поздно вызвать волну встречного антисемитизма. Пока до этого, к счастью, не дошло.

Времена интеллектуального идейного расизма нацистского

образца, который мифологизировал само понятие „еврейская раса“, давно уже в прошлом. Сегодняшняя бытовая ксенофобия генерируется быдлом, люмпенами и направлена на всех явно выраженных чужаков, иностранцев. Жертвами нападений, поджогов, оскорблений становятся негры, турки, югославы, которых в Германии действительно много. Как уже говорилось, единственный политический эффект, на который могут рассчитывать хулиганы, – это массовое общественное возмущение.

* * *

За девять лет жизни в Германии мне не пришлось сталкиваться с проявлениями антисемитизма, ни явного, ни латентного. Хотя могу допустить, что таковой имеется. Опрашивая других эмигрантов, я отметил любопытную закономерность. Многие старые эмигранты, прожившие в Германии от пятнадцати до двадцати лет и интегрировавшиеся в немецкое общество, мой опыт подтверждают. В то же время недавние эмигранты в наличии массового антисемитизма в Германии, как правило, убеждены. И тем более убеждены, чем меньше у них контактов с немцами и желания интегрироваться.

На мой взгляд, антисемитизм – это не столько реальный феномен германского общества, сколько комплекс советских эмигрантов, странным образом объединивший и бывших диссидентов, и недавних членов партии. Он прекрасно описывается анекдотом (немецким):

Сцена на вокзале

- Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к евреям?
- Замечательно отношусь. И всегда хорошо относился...
- Спасибо. А Вы как относитесь к евреям?
- Очень хорошо. В нашей семье всегда помогали евреям...
- Спасибо. А Вы как относитесь к евреям?
- Терпеть не могу. Что они здесь делают? Убирались бы в свой Израиль!
- Слава Богу, наконец-то честный человек. Присмотрите, пожалуйста, за моим чемоданом, мне нужно в кассу сбежать.

14 марта 1996

Александр Кустарев

КТО ВИНОВАТ
(о книге Даниэля Голдхагена
«Добровольные подручные Гитлера»)

Главная цель автора и издателей книги – соблазнить всех говорить о ней. Первое побуждение независимого характера – не поддаваться этому соблазну. Но это не удастся: соблазн слишком силен. Расчет автора и издателей абсолютно безошибочен. Грех неизбежен. Остается надеяться, что из этого худа нам удастся извлечь хотя бы крупицу пользы.

* * *

Книга американского историка Даниэля Голдхагена вновь возвращает нас к вопросу, который как будто уже был однажды решен. Кто виноват в массовом истреблении евреев? Гитлер и его ближайшее окружение? Или весь немецкий народ?

В Германии дискуссию по этому поводу называли „спором историков“. В результате этой дискуссии в свое время установилось мнение, что достаточных оснований обвинять весь немецкий народ в Холокосте, и вообще во всех ужасах нацизма, все-таки нет.

И вот после догого молчания по этому поводу предлагается очередная ревизия устоявшихся представлений о нашем недавнем историческом прошлом. Таких ревизий было в последнее время немало. Русским читателям, пожалуй, лучше всего известна книга Суворова, предложившего нам теперь думать, что Вторую мировую войну развязал то ли Сталин, то ли СССР, то ли ВКП(б) – кто-то из них, если проводить между ними различие.

В смысле ревизии истории книга Голдхагена – примерно то же самое.

* * *

Теперь подробнее о содержании самой книги. Голдхаген сперва пытается установить, сколько же немцев было технически замешано в работах по уничтожению евреев. Помимо печально известных войск СС и Гестапо, к этому имеет отношение и менее известная полиция порядка – Орднунгсполицай. В ней к началу 1943 года состояло порядка 300 тысяч человек. Не у всех руки в крови, но, по оценке Голдхагена, около 100 тысяч немцев можно считать прямыми участниками „окончательного решения еврейского вопроса“. Это – значительно больше, чем считалось раньше.

Далее Голдхаген уточняет некоторые детали. Он находит свидетельства того, что эти люди не просто подчинялись приказам, но работали с энтузиазмом и нередко даже перевыполняли план. Были жестоки без надобности. Голдхаген использует новые материалы о реальных условиях жизни заключенных в лагерях и на пересылках. Особенно страшная деталь. когда был отдан приказ об „окончательном решении“, Гиммлер одновременно распорядился не замучивать больше евреев до смерти по дороге к газовым камерам. Так вот, работники на местах это распоряжение часто игнорировали.

Для того чтобы подтвердить свое впечатление, Голдхаген использует не только рассеянные там и тут свидетельства, но и подробно воспроизводит историю одного батальона „полиции порядка“, размещенного в Польше.

Считая, что его розыскная работа позволяет обнаружить „явление“, Голдхаген ищет этому „явлению“ объяснения. Он предлагает такое объяснение. Немцы – издавна антисемиты. Их антисемитизм всегда носил особо радикальный и кровожадный характер. Они всегда мечтали об устранении евреев, даже об их прямом физическом уничтожении. Гитлер просто пошел навстречу желаниям народа. И народ охотно ему помог. Отсюда и название книги „Добровольные подручные Гитлера“.

* * *

Убедительна ли версия Голдхагена? Что можно сказать об ее фактическом обосновании и ее методологической законности?

Сначала о фактах. Собранные Голдхагеном свидетельства обвинения надо считать подлинными. Жаль, что следствие, готовившее материалы к нюрнбергским процессам, имело так мало времени и не работало достаточно ревностно. А то подсудимых на нюрнбергских процессах было бы гораздо больше.

Но защита тоже располагает фактами. Есть свидетельства неучастия, например, полицаев в отлавливании евреев, и даже почти саботажа. И эти факты резко умножатся, если мы примем во внимание поведение людей, не находившихся на действительной службе. Одним словом, если мы целеустремленно ищем материалы для обвинения, мы их находим. Если ищем материалы для защиты – находим тоже.

Есть еще факты, иллюстрирующие антисемитизм немецкого народа. Свидетельств этому, разумеется, достаточно. В Германии была антисемитская пресса, были и антисемитские движения и политические партии. По меньшей мере ворчливую неблагожелательность к евреям можно обнаружить даже в таких неожиданных местах, как у Теодора Фонтане или Фрица Ройтера. Грешили этим и такие герои антифашистского сопротивления, как Оскар Нимёллер и Карл Барт. Но и тут: культурная и политическая история Германии украшена не менее, если не более яркими примерами озабоченности положением евреев в обществе и даже прямого юдофильства. Значительная часть германской интеллигенции была в этом отношении совершенно безупречна – от Беттины фон Арним до Макса Вебера.

Факты против фактов. Присяжные в судах в подробных случаях решают, руководствуясь интуицией. Внутренний голос подсказывает им, какие факты весят больше. В науке так нельзя. Вес фактов должен быть определен недвусмысленным образом. А когда этого не удастся сделать, наука уклоняется от выводов. Этим, надо думать, объясняется то, что так долго вопрос о виновности в Холокосте не возбуждался. В научной общине никто не хотел брать на себя ответственность за произвольные утверждения. Конвенцию нарушил Голдхаген. Это симптоматично, и мы вернемся к его мотивам позднее.

Теперь же порассуждаем еще немного о фактах. 100 тысяч виноватых – это много или мало? В окончательном решении

еврейского вопроса принимали участие не только немцы – это что-нибудь значит? Был ли немецкий антисемитизм принципиально отличен от антисемитизма в других европейских странах?

Но, говоря о фактах, важно еще иметь в виду, что мы в этом случае манипулируем фактами совершенно разной природы. Действия карателей – факты одного рода. Это физические факты, которые можно документировать.

Антисемитские тексты – факты совершенно другого рода, это факты культуры, то есть вещь гораздо менее определенная по своему смыслу, их можно интерпретировать. И, наконец, подлинные мотивы действующих лиц. Это уже психологическая реальность, то есть такая реальность, о которой мы можем только догадываться.

Историки давно все это знают. Понимание проблемы „факта“ – главная причина крайней осторожности профессиональных историков и их крайнего скептицизма в отношении всякого рода теорий и обобщений. Эта осторожность временами становится избыточной и мешает выдвижению новых гипотез, без которых и эмпирическая наука истории не может двигаться дальше. Но она же оберегает и от безответственных и демагогических суждений. Однако дело не только в методических трудностях установления подлинного факта.

Другая проблема, сдерживающая фантазию историков, – это проблема установления причинности в историческом процессе. С тех пор как в конце прошлого века неокантианцы, а затем и Макс Вебер сильно углубились в эту проблему, техника выявления связи между фактами, событиями и состояниями разных структур невероятно усложнилась, а полученные результаты преподносятся публике с таким количеством оговорок и уточнений, что приводят порой к противоположным результатам. Интеллигентный читатель или медиатор-популяризатор, упрощая их, сползает к тому самому, чего профессионал так старательно пытался избежать.

Изю всей массы правил, которые мы должны соблюдать, выясняя причинную зависимость, упомянем сейчас только одно, очень общее и ставшее уже довольно тривиальным на вид. Это правило гласит: вероятность того, что какое-то событие имеет только одну причину, исчезающе мала. Такое впечатление, что Голдхаген нарушил именно это правило. Почему он решил его нарушить? Ведь вряд ли он не знал, что такое правило су-

ществует. Мы, таким образом, возвращаемся к мотивам Голдхагена, о которых опять-таки обещаем поговорить позже.

* * *

Книга Голдхагена вызвала бурю. Более сильную в Америке, послабее в Британии и, как следовало ожидать, самую сильную в Германии. Кстати, английские историки высказывались серьезно в основном в немецкой печати, в частности в „Ди Цайт“. Солидные немецкие газеты, видимо, сознательно опубликовали много статей из Америки и Англии. Чтобы не возникло впечатление, что дискуссия разделяет участников по этнической линии: англо-саксы и евреи, дескать, нападают, а немцы защищаются.

Мне, конечно, не удалось прочесть всю прессу по книге Голдхагена, я и не ставил перед собой такой цели. Но я все же просмотрел достаточно материалов, чтобы сделать однозначный вывод: книга Голдхагена встретила полное неодобрение в академической среде. Резких нападков, впрочем, было немного. Один рецензент назвал ее „просто плохой книгой“, а несколько других пренебрежительно назвали ее „типично американской“. В основном же обсуждение книги Голдхагена идет по хорошо известному доцентскому сценарию. Несогласие сопровождается разного рода расшаркиваниями. Дескать, собрал интересный материал, провоцирует на размышления и так далее.

Это нормально: академическая община связана определенной конвенцией, которая не допускает смертной казни, критика всегда здесь осторожна или хорошо замаскирована. Поскольку я не принадлежу к этой общине, то совершенно свободен сказать начистоту, что я об этой книге думаю. Но мне неинтересно без обобщений. Речь пойдет поэтому об особом роде книжной продукции, которая сейчас занимает важное место на книжном рынке.

* * *

Я имею в виду книги, сознательно рассчитанные на то, чтобы привлечь к себе внимание и обеспечить издательству и автору солидный доход. Теперь окончательно стало ясно, какие книги имеют на это шансы. Во-первых, читателю должна быть предложена легкая для понимания идея. Почти всегда она оказывается

тривиальной, но эта тривиальность должна быть замаскирована. У читателя, которому почти наверняка эта идея уже пришла в голову, не должно возникнуть впечатление, что его идея тривиальна. Книга должна подтвердить ему, что он оригинально мыслит. При этом очень желательно, чтобы идея выглядела глубоко-мысленной. Этого не всем удастся добиться. Тут нужно профессиональное умение и даже, я сказал бы, талант. Именно эту разновидность таланта сейчас поощряет рынок. Образцами успешных книжных акций такого рода можно считать, например, книгу Фукуямы „Конец истории“, Пола Кеннеди „Расцвет и падение сверхдержав“ или книгу Саймона Шамы о французской революции.

Во-вторых, читателю можно предложить какой-нибудь вздор, но не очевидный вздор, а допускающий дискуссию. Предпочтительно, чтобы предложенный тезис казался доступным для всеобщего обсуждения. Иными словами, чтобы масса людей искренне думала, что может по этому поводу сказать что-то существенное. В прессу попадут, разумеется, комментарии только тех, кто по сословному или цеховому принципу имеет на это право. Остальные будут обсуждать предложенный тезис устно, у себя дома, на кухне, но это и есть самое важное для популярности книги и ее автора. Книга должна стать кормом для повседневной петти-интеллектуальной (поп-интеллектуальной, мелко-интеллектуальной) дискуссии. В русской традиции такого рода разговор обычно ассоциируется с „пикейными жилетами“ Ильфа и Петрова (заимствовано ими у Диккенса).

В-третьих, публике можно предложить вопрос, на который нет однозначного ответа. Тогда дискуссия может длиться до бесконечности. Каждый может говорить, что хочет, и игра состоит в том, чтобы изобретать аргументы. Таков, например, классический вопрос „есть ли Бог“, дающий работу двум армиям верующих и атеистов уже больше двух столетий. Такова же и великая проблема „курицы и яйца“.

Книжный рынок издавна наводнен всякого рода произвольным вздором. Почти весь этот вздор остается невостребованным. Значительная его часть представляет собой просто реплики в таком дискурсе, о котором мы говорили. И лишь некоторые тезисы обнаруживают искомый потенциал. Можно было бы много чего сказать об особых свойствах этих тезисов, но оставим это для другого раза. Сейчас мы только еще раз установим

простой факт: Голдхаген нашел такой тезис, и теперь пожинает плоды заслуженного успеха.

Найти этот тезис могли многие. Вопрос о виновности немцев в Холокосте и вообще в преступлениях нацизма уже был очень горячим, и его потенциал вполне известен. Антисемитизм уже очень хорошо изучен, и было предложено много его интерпретаций. Это был один из коммерческих тезисов, лежащих на поверхности и легко доступных. Воспользоваться им ничего не стоило. Но очень многие не делали этого, испытывая, скорее всего, сильные сомнения в том, стоит ли и достойно ли это делать. Людей часто в таких обстоятельствах сдерживает то, что Макс Вебер любил называть „сопротивлением душевного свойства“ (Widerstand seelischer Art), а Норберт Элис „чувством мучительной неловкости“ (Peinlichkeitsgefühl). Молодые циники, готовые делать карьеру на чем угодно, могут назвать это „предрассудками“. Это и есть предрассудки, и наша оценка этих предрассудков будет зависеть, вероятно, от других наших предрассудков.

Так или иначе, что позволено быку, то не позволено Юпитеру. Если бы нас ничего не удерживало от участия в конкурентной борьбе, то успешным участникам этой борьбы было бы намного труднее одержать в ней победу. Очень часто мы уступаем без борьбы, как поступил, например, персонаж одного из самых изящных рассказов Борхеса, где два доцента спорят о том, кому принадлежит право обрабатывать сенсационный документ. Наша пассивность в подобных ситуациях успокаивает нашу совесть, но, увы, не предотвращает событие, которому мы пассивно стараемся помешать. И, к сожалению, в правилах игры не сказано ничего определенного насчет того, как нам следует поступать, когда нежелательное событие все-таки произошло. Я лично думаю, что нарушителя конвенции следует бить канделябрами. Но, как я сказал раньше, академические критики Голдхагена, за некоторыми исключениями, проявляют к нему удивительную снисходительность.

Трудно сказать, чего больше в выступлении Голдхагена: наивности, авантюризма или циничного расчета. Скорее всего там есть это все. Чего не сделаешь, чтобы застолбить участок. И чего потом не наплетешь самому себе, оправдывая свою, скажем деликатно, „некорректность“.

Могли бы и мы отнестись к такой некорректности снисходи-

тельно. Ну, подумаешь, дело: ну, заработал человек, дал заработать другим, внес свой вклад в совокупный валовой продукт общества, помог экономике. Кому от этого плохо? Тем более что общественность с ним в общем-то не согласилась, и в конце концов все стало на свои места.

Боюсь, что здесь далеко не все так просто. Даже в сравнительно безобидном случае, когда внимание публики отвлекается на безобидные тривиальности, общество несет известный ущерб, потому что общий хор болтовни вокруг этих тривиальностей заглушает тихое подлинное движение мысли и мешает обществу во время заметить серьезную проблему. А инициативы вроде выступления Голдхагена сильно нас дезориентируют. Голдхаген концентрируется на немцах и на антисемитизме. Но мне кажется, что весь нацистский эпизод, включая Холокост, обнаружил перед нами проблему, которой, к сожалению, мы до сих пор боимся взглянуть в лицо, хотя болтают о ней много.

Вот эта проблема: как случилось, что при определенных обстоятельствах так много обыкновенных людей оказались способны на такую зверскую расправу со своими ближними? Обстоятельства были, разумеется, весьма неблагоприятны. Гораздо легче было вести себя непорядочно, чем порядочно. И все же...

Надо сказать, что скандал подобного масштаба произошел ведь и с советскими людьми. А в меньших, но тоже внушительных масштабах, свою моральную лабильность продемонстрировали и многие другие народы.

Весь этот опыт убеждает скептиков в том, что слой цивилизации в человеческом сознании чрезвычайно тонок, а наши моральные устои очень хрупки. Стремление людей подавить друг друга вырывается на поверхность при малейшем ослаблении системы социального контроля и при малейшем соблазне. Убийцы – среди нас. Общество в постоянной опасности. В нацистском уничтожении евреев, как мне кажется, самым важным были не евреи, а тяга к уничтожению.

Книга Голдхагена выпускает очередную дымовую завесу на действительно фундаментальную проблему. Эта проблема и познавательна и нормативна. В познавательном плане можно предположить, что склонность к агрессии в природе человека, или наоборот, что она целиком определяется системой ценностей, в которой человек воспитан. Эта старая проблема еще

очень далека от решения, если вообще может быть решена. Но и в том и в другом случае (и это нормативная сторона дела) открытым остается вопрос о содержании и интенсивности культурной политики, которую мы сами будем проводить через государство либо через институты гражданского общества.

Проблема эта становится сейчас с каждым годом все острее. Потому что так называемое „оформленное“ общество, сложившееся в Европе (включая советский вариант) и Северной Америке к середине этого века, по-видимому, теперь демонтируется. Надвигается ситуация, в свое время замечательно смоделированная в знаменитом романе Джона Уиндэма „День триффидов“, а затем воспроизводившаяся в многочисленных научно-фантастических триллерах: люди попадают в маргинальное положение, и тут же начинается тотальный гангстеризм.

Разумеется, беллетристика и кино всегда доводят дело до гротеска и крайности. Но даже если мы хотя бы немного сдвинемся к этой воображаемой апокалиптической ситуации (как было в Европе в 20-30 годы), это будет стоить жизни такому количеству людей, что лучше теперь подумать: а не стоит ли сделать действительно все возможное, чтобы этого избежать?

Вячеслав Рыбаков

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

*О, если бы смирялись они в то время,
когда настигали их бедствия! Напротив,
сердца их ожесточались, а сатана
представлял им дела их прекрасными.*

Коран, сура «Скот», стих 43

1

В своем романе „Исповедь еврея“ Александр Мелихов высказывает среди прочих вот какую мысль: „Любой Народ... создается не общей кровью или почвой... а общим запасом воодушевляющего вранья“.

Это – бесспорно.

Советский народ – новая историческая общность людей, прообраз будущего единого человечества – существовал только до тех пор, пока существовала вера в его существование. Даже резче скажем: только для тех, кто верил в его существование. Верил в бескорыстных героев гражданской войны, в бессильные козни буржуинов, в то, что национальная рознь – удел одних эксплуататоров, в непобедимость советского оружия, в коммунизм к 80-му году... Как только эти идеальные образы грянулись оземь и обернулись враньем – советский народ исчез. Что толку теперь спорить, сколько процентов вранья, а сколько – правды можно при строгом анализе обнаружить в каждом из этих образов? Важно, что достаточно большая часть народа в какой-то момент ощутила их как полное вранье.

Термин „вранье“ – очень эмоциональный термин. Он сразу вызывает тошноту по отношению ко всему, что им обозначают.

Но есть вранье, а есть вранье. „Ленин в Октябре“ – вранье. „Павлик Морозов“ – вранье. „Тимур и его команда“ – уже не только и не вполне вранье. А путешествие Гулливера к умным и справедливым великанам – вранье? А Красная Шапочка?

Если человеку с молодых ногтей, лишив его и толики воодушевляющего вранья, долдонить одну лишь правду, а именно: все дерьмо, кроме мочи, – останется он человеком? В свое время в моем сценарии „Письма мертвого человека“ была фраза – в фильм он на вошла, я оставил ее только в параллельно писавшейся повести „Первый день спасения“: „Те, в ком детство укоренилось прочно, всю жизнь стараются сделать все вокруг таким же чудесным, каким оно им казалось. Из этого – и подвиги, и ошибки. А остальные – им не о чем мечтать...“ Думаю, до последних дней своих человек нуждается в эмоциональной и адаптивной подпитке того, что заложено в нем прекрасными сказками. Религиозные люди считают, что такую подпитку для чад своих возлюбленных осуществляет Бог. Нерелигиозным приходится придумывать какие-то иные методики – или смириться с неизбежным превращением в затравленных, ожесточенных зверей.

Психика человека имеет сложнейшую, многоэтажную структуру, и лишь один этаж – сознание – доступен более или менее действенному контролю. Существует еще ненасытное, сдавленное, то и дело норовящее закатить истерику Оно – источник всех иррациональных страхов, скопище животных порывов и вожделений, то так, та этак запускающее в наше Я свои лапы. И существует столь же мало осознаваемое, светоносное, бесконечно доброе и бесконечно строгое Сверх-Я, то есть то, каким человек хотел бы быть. Пока динамическое равновесие трех сохраняется, человек остается человеком. Придавите, обессильте Сверх-Я – и человек пропал, Я будет проглочено омутом, над которым больше нет неба.

Но ровно так же функционирует и коллективное бессознательное – не индивидуальный младенческий опыт, загнанный в подсознание, а не осознаваемый опыт предыдущих поколений. В последнее время довольно много говорят о том, что внезапное, даже слабое раздражение того или иного коллективного архетипа вызывает не соответствующие раздражителю чудовищные,

эпидемически заразные вспышки, которые в одночасье превращают мирное население в безумную, не боящуюся никакой лжи, а подчас и никакой крови, толпу. Истерика миллионов. Прорыв в коллективное Я коллективного Оно – кристаллизовавшихся на протяжении многих поколений комплексов, страхов, обид, поражений, несбывшихся надежд целого народа, а то и целой культуры. Не бывает социальных катастроф страшнее, чем те, что вызываются подобными прорывами.

Гораздо меньше, насколько мне известно, принято думать и говорить о коллективном Сверх-Я: об идеальном образе себя, который в течение веков создают для себя нации и культуры; о том, какой та или иная общность людей хотела бы быть. Хотела бы стать.

Между тем, подобное невнимание – такая же нелепость, как если бы, скажем, христианство или ислам сосредоточились бы на свойствах и функциях сатаны, а о Троице или Аллахе упоминали лишь вскользь: дескать, да, есть такое воодушевляющее вранье, но, говоря по жизни, все дерьмо, кроме мочи, все шайтан, кроме черта... Получились бы не мировые этические религии, а сатанинские секты.

От свойств коллективного Сверх-Я зависит его способность противостоять социальным истерикам или, напротив, в определенных ситуациях стимулировать их. От состояния коллективного Сверх-Я зависит, произойдут ли вообще такие истерики или коллективное Оно лишь рыкнет пару раз из своей мглы и уймется, займет подобающее ему место в бесноватых сновидениях и пусть не всегда приятных, но безобидных черточках национального характера.

2

Погоня общества за идеальным образом себя может принимать самые разнообразные формы; исстари возник целый спектр социальных механизмов, с той или иной степенью успешности и полноты переводящих абстрактную тоску по правильному общественному устройству на уровень конкретных индивидуальных и коллективных действий.

Самый приземленный, самый государственный из этих механизмов – право. Приземленный – потому что право уже не

столько мечта, сколько цель, которая кажется государству вполне достижимой, реализуемой имеющимися в наличии средствами. И в то же время оно – парадный портрет, нарисованный как негатив. Предусматривается наказание за убийство – значит, не должно быть убийств; предусматривается наказание за кражу – значит, не должно быть краж. И в то же время право, несмотря на всю сухость текста, – стопроцентное воодушевляющее вранье. Потому что все своды законов, от Хаммурапи до наших дней, пишутся так, будто раскрываемость преступлений стопроцентна, будто стопроцентна эффективность пенитенциарных учреждений, будто следователи и судьи никогда не ошибаются и не берут взятки (за исключением тех случаев, когда их ошибки и подтасовки выплывают на свет Божий и подлежат уже специально для них предусмотренным наказаниям). От промежуточной стадии, на которой, собственно, живая жизнь и перетекает из момента совершения преступления в момент начала судебного разбирательства, кодексы, насколько возможно, абстрагируются. Это – неременное свойство любых попыток описать идеал.

Даже такой слабенький идеальный образ общества, какой очерчивают своды законов, всегда несет на себе мощнейший отпечаток породившей его культуры.

Например, в Китае в средние века за воровку с целью снизить не подкрепленное реальными заслугами благорасположение родителей полагалась пожизненная высылка приблизительно на 1000 км из родных мест; такое же наказание предусматривалось за участие в заговоре на убийство (самое натуральное, ножиком или дубиной, а не колдовством каким-нибудь) императорского посланца. Будь такой запрет введен в теперешний УК России, даже самое неукоснительное его соблюдение вряд ли улучшило бы наше общество хоть на волос, вряд ли приблизило бы его к тому состоянию, которое мыслится нами как идеальное.

Чем выше к Сверх-Я – тем меньше связей с реальной, биологической и вульгарно-социальной действительностью, и тем сильнее отпечаток заменяющей плотскую биологию бесплотной культуры на структурах, существующих в этой горней выси. Но именно эти-то бесконечно хрупкие структуры, уязвимые, почти нематериальные, как сверкающие на солнце паутинки, являются наиболее действенным... да что там стесняться в выражениях –

единственным ненасильственным фактором, удерживающим человека вне и выше инфернальной круговерти животного царства. Подвешенный на этих паутинках, тяжело раскачивается над бездной род людской.

Даже правовые иллюзии и правовые идеалы требуют эмоциональной подпитки. Она обеспечивается максимально выгодным освещением работы правоохранительных органов: в прессе, публицистике, художественной литературе, детективном кинематографе и т.д. Суммарное воздействие этого многоуровневого потока может быть очень сильным, и оно остается таковым до тех пор, пока в силу каких-либо факторов не начинает восприниматься как вранье. После этого, мы прекрасно знаем, плюс меняется на минус рывком. Всякое сообщение об успехе выворачивается массовым сознанием наизнанку и воспринимается как фиговый листок, которым бездарные, продажные менты тщатся прикрыть какой-то очередной провал, нам неизвестный, но наверняка случившийся; ведь если бы провала не произошло, то и сообщений об успехах не понадобилось. Никогда не спадающее до нуля стремление к идеалу неизбежно начинает требовать поведенческой реализации не на путях помощи системе, а на путях ее разрушения; и каждая новая порция информации, воспринимаемая как вранье – причем совершенно неважно, является она враньем на самом деле или нет, – подпитывает не созидательный, а разрушительный потенциал, активизирует агрессию и страх.

Увы, даже самым мощным одномоментным воздействием нельзя сделать структуры Сверх-Я нерушимыми, подпитка должна быть постоянной. И важнейшим условием ее действенности, даже определенной гарантией того, что ее не будут воспринимать как вранье, является то, чтобы индуктор сам „верил в обман“.

Литература, наряду с использующими слова формами лицедейства, оказывает эмоциональное давление концентрированными воспроизведениями конкретных жизненных ситуаций, поэтому, плюс к эмоциональной, она дает еще и мощнейшую адаптивную подпитку.

3

В этом смысле великая русская литература XIX века возникла отнюдь не из противостояния общества и самодержавия, как

долго принято было думать. И даже не в силу того факта, что в стране, где отсутствуют демократические институты, их роль – роль политической оппозиции – исполняется исключительно словесностью. Она была результатом – одним из результатов, безусловно, – долгой, мучительной попытки общества, сложившейся из аналогичных индивидуальных попыток, нащупать эмоциональный и поведенческий компромисс между устойчивыми структурами психики, особенно наиболее статичными, никакой логикой и почти никакой индивидуальной практикой не пробиваемыми архетипами коллективного подсознательного (т.е. тем, что принято называть „ценностями, вошедшими в плоть и кровь культуры“) и захлестнувшими страну социально-политическими реалиями, выросшими зачастую из несовместимо иных архетипов.

Религиозные ценности, как никакие другие, „входят в плоть и кровь культуры“. В католицизме главою церкви является папа – вполне демократически избираемый кардиналами человек, который с момента избрания становится непогрешимым наместником Бога; папские буллы – наглость какая! – святы в той же степени, что и зафиксированные евангелистами речи Христа. В протестантизме, который, как всякий сын-соперник, является зеркальным перевертышем папаши, погрешимы в равной степени все. Зато для общения с Богом никто не нуждается ни в каких посреднических структурах, каждый живет тет-а-тет с Господом, значит, каждый сам по себе. В православии главою церкви является никем никогда не сменяемый Христос, а непогрешимостью обладает вся соборная церковь в целом, составляющая с главою своим единое тело, и никто в отдельности.

Можно не один том исписать, приводя примеры преломления этой российской конструкции в культуре, в быту, в социальной и государственной практике, в системе ценностей – и их отличий от аналогичных преломлений конструкций первой и второй. И можно десяток томов исписать, пытаюсь изобразить все те психологические и поведенческие напряжения, разрывы, разломы, ошибки и аффекты, которые стали корезить дух и жизнь каждого человека, когда повседневная практика России на всех уровнях начала трансформироваться, подлаживаясь под выросший на протестантских принципах западный мир. А ведь миры различались не только по этим признакам – по сотням других, столь же „вошедших в плоть и кровь“! И ведь, к тому же, в каждой из

культур продолжали существовать и свои собственные, так или иначе залатанные противоречия, напряжения и разломы!

Литературно одаренные люди по самой природе своей давали выход этим ошибкам и аффектам в своих текстах. И в основе каждой попытки лежало вряд ли осознаваемое, но совершенно неодолимое и неизбежное стремление психики построить непротиворечивую, единую картину мира и поведения индивидуума в этом мире. Чтобы можно было продолжать просто жить – не бунтуя, не сходя с ума, не принимая схиму. Именно грандиозность пропасти между сшиваемыми массивами породила грандиозность литературы; именно острота и болезненность переживания необъединимости того, что должно было быть во что бы то ни стало объединено, породили пронзительную эмоциональность. Именно коллективный архетип, не прошедший многовековой индивидуализирующей трансформации, породил социальность русской литературы, ее нигде, пожалуй, более не виданный интерес к взаимоотношениям человека и общества, личности и государства. Европейская литература входила в эмоциональный резонанс с читателем, все глубже забираясь в индивидуальное подсознание. Русская – искала в первую очередь контакт со структурами коллективного бессознательного и, в силу доминирующей установки на примирение, а не на борьбу, не на ампутацию какой-либо одной из нахлобученных историей одна на другую культур, – с идеальными структурами коллективного Сверх-Я. Вовсю работавшая на примирение пресловутая „всемирная отзывчивость русской души“ возникла как один из итогов аналогичной операции, проделанной несколькими веками прежде, когда пришлось сшивать русскую и монголо-татарскую культуры, чтобы ухитриться как-то сосуществовать. Тогда операция прошла несколько более успешно, история подхлестывала еще не так, как в XIX веке.

Только к началу нашего века, когда государственная дурь свела с ума всех настолько, что объединяющие скрепы сплошь ощутились как рабьи цепи, когда вычувствовать компромисс и, тем более, находить ему эмоционально убедительные ситуационные воплощения оказалось совсем уже сложно, в чем-то существенном – даже невозможно, когда у читателя возобладали и стали требовать подпитки совсем другие аффекты, – только тогда пришел Серебряный Век и принялся призывать очистительный огонь. „Пусть сильнее грянет буря!“, „Вас, кто

меня уничтожит, встречаю приветственным гимном!“, „В сердце девушки вложи восторг убийства и в душу детскую кровавые мечты!“ Это была явная дисфункция литературы.

Конечно, она возникла не сама по себе, а лишь когда терпимость, кротость, доброта стали восприниматься как вранье. Еще один шаг – и: „Мировой пожар в крови – Господи, благослови!“ А потом еще один – и: „Требуем расстрела шпионам и убийцам! Собакам – собачья смерть!“ Это кричали не только обезумевшие, перепуганные люди, но и книги. Дисфункция литературы закономерно привела к ее коллапсу.

Очистительная буря, которую так искренне призывали борцы с враньем, очистила общество совсем не от того, от чего стремились очистить его гениальные невротики с разорванной психикой. Да она и в принципе не способна чистить от „того“. „То“ трансформируется медленно, шажочками, по крупичкам, в мелочах. Не под ударами дубин и топоров, а вслед за стремлением каждого нормального человека оставаться хоть сколько-нибудь хорошим; при условии, что шажочками, в мелочах, и притом не без влияния стимуляции воодушевляющим враньем – таким, например, как Нагорная проповедь, – улучшается представление о том, что это такое – хороший.

Бескомпромиссные борцы с ханжеством и лицемерием, срыватели всех и всяческих масок, апологеты горькой правды о современном им человеке, которого необходимо немедленно, любой ценой перелопатить, прокалить, прожарить, пропахать и выковать из него нечто принципиально новое и замечательное, сделали все, что в их силах, чтобы активизировать наиболее варварские, пещерные структуры коллективного подсознания: животный эгоизм, резкое деление на своих и чужих, страх-ненависть ко всему чужому, нулевую ценность индивидуального по отношению к общему и веру в непогрешимость вождя-шамана. Остальное было делом политической техники и исторических случайностей.

Конечно, существовали и такие, кто в этой ситуации всерьез погнался за идеалом. Но они, естественным образом оказавшись в пренебрежительно малом меньшинстве, почти сразу оказались не ко двору. И в обществе, покончившем с „буржуазным лицемерием“, никаких механизмов защиты у них не осталось.

Оттаивание российской литературы во время хрущевской „оттепели“ выразилось, помимо прочего, в том, что объективно вечная, не прекращающаяся никогда погоня общества за идеальным образом себя, никем из литераторов сталинского замеса искренне уже не ощущаемая, превратившаяся у них в набор ритуальных заклинаний, вновь стала наполняться живыми переживаниями.

Конечно, процесс творчества у разных людей протекает по-разному, но, думаю, естественным образом работающий писатель нарочно своих книг никогда не придумывает. Рациональное придумывание, конструирование начинается уже на последней стадии – как лучше расположить эпизоды, как назвать персонажей и т.д. Прежде всего писатель просто отвечает миру, вызывающему в нем те или иные эмоции, попытками создать тексты, которые оказались бы способны вызвать те же самые эмоции у любого, кто эти тексты читает; на поверку, конечно, выходит слегка наоборот: эти тексты читаются и находят отклик только у тех, кто уже сам, создавая это или нет, испытывает аналогичные эмоции.

Если писатель переживает только за себя и о себе, или даже еще о двух-трех ближних своих, то и основных персонажей у него, как правило, окажется один-два-три, а остальной мир останется почти не фигурирующей, узнаваемой сразу обыкновенностью. Если писателя Бог сподобил переживать еще и за все общество разом, за то, что в нем происходило, происходит или, как он чувствует, может произойти, – тогда общество так или иначе оказывается среди основных персонажей. Россияне традиционно были к таким переживаниям весьма склонны.

Великолепным и, не побоюсь этого слова, уникальным инструментом для претворения в тексты переживаний такого рода стала в ту пору научная фантастика. Именно она оказалась созвучным эпохе приемом описания общества не как фона, а как равноправного, привлекательного или отталкивающего персонажа произведения. Отбросив навязанную ей в 30-50-х годах – как и всей, впрочем, литературе – роль коллективного пропагандиста и коллективного организатора, она оказалась способной взять на себя роль, к которой так называемая ре-

листическая литература была мало приспособлена: овеществлять реально существующие коллективные мечты и реально существующие коллективные страхи.

Определение „научная“ тут сразу стало анахронизмом, атавистическим хвостиком, отросшим две эпохи назад, в жюльерновские времена.

Творчество двух крупнейших фантастов той эпохи: Ефремова и братьев Стругацких – при всей их несхожести позволяет очень четко проследить эволюцию Сверх-Я советского общества; особенно удобно это делать по творчеству братьев Стругацких, потому что этот писатель писал больше, публиковался чаще и прожил в литературе на восемнадцать лет дольше. Но переживания и у того, и у другого были явно однотипными и развивались параллельно переживаниям общества, в чем-то предвосхищая, в чем-то стимулируя их. Под обществом здесь имеется в виду та его часть, которая вообще способна к переживаниям подобного рода.

Поначалу главным аффектом являлось ожидание рая. Ожидание страстное, нетерпеливое, активное. Вошедшее в плоть и кровь православной культуры упование на скорое пришествие царствия небесного, трансформированное европейской доктриной обретения этого царствия в посюсторонней жизни и помноженное на советскую яростную надежду построить его быстро, своею собственной рукой. Вот оно, в двух шагах, общество хороших людей, которым никто и ничто в этом обществе не мешает быть хорошими и даже становиться еще лучше: ни аппарат подавления, ни преступность, ни война.

Но сразу выявляется фатальная слабость художественного мира, овеществляющего это желание быть хорошими. Через что нужно перешагнуть, чтобы сделать эти два шага? Что за порог? Что за бездну? Ведь очевидно же, что мир реальный и мир изображенный отличаются друг от друга качественно, и люди, населяющие текст, отличаются от реальных качественно: они лишены комплексов, агрессивности, косности...

Здесь, между прочим, явственнейшим образом просматривается водораздел двух культур. В западной фантастике для изображения будущего, как правило, достаточно простого количественного увеличения уже существующего. Там иной миф: нет таких неприятностей и бед, против которых не выступил бы про-

стой американский парень и, поднапрягшись как следует, даже получив пару раз по сопатке, не ликвидировал бы локальное ухудшение в целом не требующего улучшений мира. Только если мир изменен качественно, простой славный парень ничего не может поделывать (смотри, например, „1984“). Поэтому качественные изменения существующего мира всегда к худу. У нас же улучшение мира может быть только качественным; о количественном увеличении уже существующего лучше было не думать.

Программа качественного улучшения сводилась к вековечной фразе: „По щучьему велению...“ Это казалось естественным, потому что, каким бы новым и умным ни считали тогда жанр НФ, он прекрасно уложился в традиционные мифологемы; в сказание о граде Китеже, например. Поднырнуть под всю мерзость неодолимой реальности, а через промежуток времени, сколь угодно короткий, или сколь угодно долгий – ведь в озере время останавливается, – когда беды увянут, всплыть обновленными и в то же время „почти такими же“...

Но искренне переживающие и честно думающие люди в озере долго не могут. Дышать нечем. Все попытки нащупать эмоционально непротиворечивый, единый образ, составляющими которого являлись бы прекрасное завтра и день ото дня все более унылое сегодня, провалились.

Да как же так, братцы? Ведь там хорошо! Там никто нас не унижает, никто не давит, там нет госграниц, там все уважают, обожают и прощают друг друга, там не воруют и не стреляют, там летают к звездам, там открывают анамезон и нуль-Т, там нет ничего ценнее, чем любовь к человеку и познание великих, таких манящих, столько сулящих тайн природы, мы так туда хотим! И вы хотите! Ведь не может человек этого не хотеть! Ах, может? Ах, есть такие, кому на все это плевать? Да кто же это?

Мещане.

„Мещанин... – Человек с мелкими интересами и узким кругозором“ (С.И. Ожегов, „Словарь русского языка“).

У Ефремова этот момент несколько смазан – хотя и он в „Сердце Змеи“, избрав овецествляющим все дурное объектом негодования какого-то американца, показал ему, а заодно и всему миру, как на самом деле надо. Стругацкие же всей мощью своего таланта обрушились на мещанина. И раз, и два, и три...

Да если бы только фантастика на него, беднягу, окрысилась!

Все искусство середины 60-х, казалось, нашло врага внутреннего, который сорвал Семилетку. От „Иду на грозу“ до кретинических частушек про ханыг в узких брючках. Гореть нужно, товарищи, гореть душой, не думая ни о себе, ни о завтрашнем дне – только о светлом будущем, и тогда оно наступит непременно! Спать на раскисшей глине, есть помой – но задуть домну на пять дней раньше планового срока! А от домны, вы же понимаете, и до светлого будущего...

И какие-то страшно знакомые нотки звучали в этом хоре.

„Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах...“

И – дальше, глубже... Старшие братья Ивана-дурака, живущие обыденным трудом и потому проспавшие маму Конька-Горбунка... Зажиточные соседи Емели, никак не верившие, что печка поедет...

„И по вере вашей воздастся вам...“ „Не любите мира, ни того, что в мире...“ „Кто миру друг, тот Богу враг, и кто миру враг, тот Богу друг...“

Ох, архетипы, архетипы...

Но вот и мещанин уже не сам по себе мешает достичь светлого будущего – которое год от года становится не то, что менее светлым, но явно более далеким. С мещанином как таковым мы бы справились. В крайнем случае, сманили бы у него детей в какой-нибудь звездный лепрозорий... закрытый пионерлагерь „Квант“... Мещанин, оказывается, страшен потому, что тоталитарное общество не может без него, оно паразитирует на нем и потому его культивирует. Пока существует тоталитарное общество, оно будет плодить, множить и оберегать от не-мещан тех, кто не любит любить, а любит стрелять, не любит познавать, а любит унижать познающих, не любит создавать, а любит разрушать...

Конечно, не Стругацкие это открыли. Уже были Солженицын и Сахаров, уже были Новочеркасск и Чехословакия. Но – для единиц. А не рубеже 70-х уже массовое сознание той части интеллигенции, которая сохранила способность болеть за страну, стало медленно поворачиваться в этом направлении. Тоска по социальному идеалу неизбежно начинала вызывать ненависть к той системе, которая не дает идеала достичь.

Колесо судьбы свершило свой оборот. Долой самодержавие... А дальше в глубь веков: Антихрист на троне.

Ефремов пишет „Час Быка“.

Уникальный, удивительный по эмоциональной убедительности и привлекательности ХХІІ век Стругацких нечувствительнейшим образом трансформируется. В „Жуке в муравейнике“ все светлые детали, перекочевавшие из „Возвращения“, „Далёкой Радуги“, „Парня“, выглядят, как кумачовые транспаранты из „Победителей недр“ какого-нибудь Адамова; они начисто лишены эмоционального насыщения. Основной аффект теперь – противостояние Службы Безопасности и того, что она соблаговолила счесть опасностью. Светлое будущее окончательно ушло туда, откуда оно веком раньше пришло в философию и литературу, – за облака.

Это дало, между прочим, милейшей Майе Каганской возможность („22“, август-сентябрь 1987) с маниакальной дотошностью доказывать из Иерусалима, что все последние вещи Стругацких – это сложнейшим образом закодированный призыв к евреям покинуть варварскую Россию и эмигрировать в Израиль. Слово „люден“, оказывается, нужно понимать, как „юден“, клеймо Странников, напоминающее то ли стилизованное „Ж“, то ли иероглиф „сандзю“, нужно понимать как „жид“, имя „Махиро Синода“ нужно понимать как „Махровый Синод“, инопланетное имя „Итрч“ нужно понимать как аббревиатуру словосочетания „истинно русский человек“!

Кстати, в этом же пыталась убедить меня одна врачиха, когда я валялся с воспалением легких в больнице Академии Наук. И, кстати, в том же году, в 87-м. „Это они своих жидов в Израилевку скликают. Не верите? А вот посмотрите, если в этой фразе „прогрессор“ заменить на „еврей“... А вот здесь „люден“ заменить на „еврей“... А „звездолет“ заменить на „еврей“...“

Противоположности действительно сходятся – но только на уровне паранойи.

Очередное прогнившее самодержавие в очередной раз рухнуло в 91-м году. Осенью этого года писатель „братья Стругацкие“ перестал существовать. Светлая ему память.

5

Остальная фантастика к концу периода влачила довольно жалкое существование. Ефремов своей ранней смертью и цепью совершенных в последние годы жизни чисто человеческих оши-

бок невольно дал возможность провозгласить себя апологетом системы в противовес ее врагам Стругацким; возникла – уж не сама собой, разумеется, уж не бесплатно! – так называемая ефремовская школа, где бездарности и полубездарности пытались описывать светлое будущее, наворачивать сопли в сиропе по поводу конфликтов добра и добра так, будто с 56-го по 82-й годы ровно ничего не изменилось. Но социальная ситуация и вызываемые ею переживания трансформировались принципиально и необратимо.

Произошло то, что в психологии называется, кажется, „сдвигом на цель“. Если то, что воспринимается как препятствие на пути реализации некоей сверхценной, неотменяемой цели оказывается непреодолимым, борьба с этим препятствием сама становится целью, источником основных переживаний, оттесняя прежнюю цель далеко на периферию сознания и выпаривая из ожидания встречи с нею все живые эмоции. Так испарилась жизнь из „Возвращения“ и „Далекой Радуги“ ко времени „Жука“; ведь снятие государственных пут с личности, которое сначала просто подразумевалось как средство построения лучшего общества, обернулось основной, финальной задачей, а что после – неважно. Поэтому то, что в годы реабилитаций и „Востоков“ воспринималось бы как, пусть не очень талантливое, и все же – просто-таки по определению! – греющее душу изображение мечты, в годы орденов и талонов превратилось в обыкновенное вранье. И даже не воодушевляющее

Сдвиг на цель привел к тому, что основным реальным страхом стало: нас загоняют совсем не в наш идеал. Это было, как инфекционное безумие; дальше не заглядывали ни чувства, ни мысли. Литературно самые неприятельные, подчас не лучше опусов „ефремовской“ школы рукописи, покусывающие тоталитаризм, были обречены на резонанс с читателем. Реалистичным стало только овеществление страхов. Как грибы, росли под каждым кустом образы катастроф, всепланетных концлагерей, глобальных войн. Иногда они даже пробивались в печать...

Сверх-Я клокотало вхолостую, тщетно пытаюсь соткать единый эмоциональный ковер из Афгана и запусков зондов к Венере, из Чернобыля и братства народов... Полотно рвалось.

И разорвалось, наконец.

И снова, в который раз, вместе с ним разорвались объединяю-

щие скрепы, вот уже многие годы ощущавшиеся как рабы цепи; светлый образ будущего, как воздушный шар, от которого оторвалась корзина с пассажирами, стремительно растаял в синеве, а мы грянулись о грешную землю – и обернулись... кем?

Кто кем.

Во-первых, этот крах очень у многих напрочь отбил охоту мыслить социальными категориями и, паче того, всерьез переживать по их поводу. Не до них, детей бы прокормить. И потом, думай не думай, переживай не переживай – все равно не угадаешь, какую завтра в Кремле очередную хохму отмочат.

Во-вторых, накопленный потенциал негодования никуда не делся, он не смог выплеснуться в массовой социальной судороге. К счастью. Но зато он раздробился; вместо одного-двух-трех масштабных противников он получил теперь тысячи разрозненных адресатов. Эмоционально – всяк сам за себя. И это бы еще ничего, похоже, весь, мягко говоря, цивилизованный мир так живет, но наш накал ему и не снился; едва ли не каждая группочка, едва ли не каждый хмырь мнят себя, как великая, не знающая о возможности столь мелкой социальной шинковки традиция, святой империей во вражеском окружении, абсолютно праведным градом Китежем, которому вот-вот воздастся наконец за все страдания, а поганые – а поганых-то чуть не вся страна! – изыдут.

В-третьих, оба ведущих аффекта: страх за себя и множество бытовых микроненавистей – месяц от месяца усугубляются нарастающей и все более кровавой дезорганизацией, отсутствием явных авторитетов и стремительной имущественной поляризацией. И то, и другое, и третье находится в давнем, традиционном противоречии с архетипами коллективного Сверх-Я православной культуры, помимо которого даже атеисты не имеют здесь никакого иного.

Переживать за общество в целом стало более чем затруднительно. Ну какое там общество – в нашем-то, исконном понимании, где синонимом слову „общество“ еще так недавно было слово „мир“? Какой, елки-палки, мир из сидящего в переходе метро безногого старика и в „мерседесе“ проносащегося по Невскому над ним толстолобика (да еще при явной неспособности и нежелании государства создать механизмы обратной

перекачки части доходов от мерседесников к безногим)? Какие переживания охватывают – угадайте с трех раз! – живущего на четыреста тысяч в месяц профессора, основного кормильца семьи, когда он видит по телевизору сладкоголосого публициста, с микрофоном скачущего вокруг какой-то шмакодявки: „Скажите нашим зрителям, кто вы?“ – „Студентка второго курса“. – „Что привело вас сюда?“ – „Я купила акций на двадцать семь миллионов и очень довольна...“ Можно было переживать за Тухачевского, пусть даже в самом широком спектре: от „Собаке – собачья смерть!“ до „Несчастливая жертва кровавого режима...“ Но переживать за Грачева?!

А за государство – категорию столь ценную для нашего, извините за выражение, менталитета еще со времен Византии? Тут остается переживать только то, что государства нет. Это не фраза. Государство существует лишь в той степени, в какой оно осуществляет на роду ему написанные функции: оборонительную, правоохранительную, регулирующую. Не буду отвлекаться – хотя очень хочется, уж больно накипело, – разбирая, насколько каждая из них выполняется Россией, наконец-то свободной, наконец-то независимой от Украины с ее исконно украинским Крымом, от Казахстана с его знаменитой целиной...

И в то же время те, кто искренне переживает все эти, мягко говоря, несообразности и, в меру своих интеллектуальных способностей, ищет пути их преодоления, лишены всякой возможности в очередной раз взвыть: „Пусть сильнее грянет буря!“ Лишены, ибо, во-первых, прекрасно знают, что творят и чем кончаются у нас бури. И, во-вторых, не знают, что бы такое принципиально новое предложить взамен. Разумной альтернативы эволюционному, по крупицам, шажочками, выправлению несообразностей – нет.

Ох, да, конечно, хорошо бы взять и в одну ночь расстрелять всех преступников! Как об этом еще в 60-х мечтал настоящий мужчина Иван Антонович Ефремов! Ничего не мог с собой поделить, мечтал. „Страшные неизвлекаемые ножи Ян-Ях торчали из скрюченных тел. Ген Ши и Ка Луф понесли заслуженную кару... Наказаны смертельно еще двадцать главных виновников... Вы не представляете, сколько накопилось у нас человеческой дряни за много веков истребления лучших людей, когда преимущественно выживали мелкодушные приспособленцы, донос-

чики, палачи, угнетатели! Мы должны руководствоваться этим, а не слепо подражать вам (не одобряющим террора землянам из светлого будущего. – *В.Р.*). Когда тайно и бесславно начнут погибать тысячи „змееносцев“ и их подручных – палачей „лиловых“, – тогда высокое положение в государстве перестанет привлекать негодяев“ („Час Быка“). „Я могла бы убивать всех, причиняющих страдания, и тех, кто ложным словом ведет людей в бездну жестокости, учит убивать и разрушать якобы для человеческого блага. Я верю, будет время, когда станет много таких, как я, и каждый убьет по десятку негодяев. Река человеческих поколений с каждым столетием будет все чище, пока не превратится в хрустальный поток“ („Таис Афинская“).

Но раз за разом, с железной закономерностью, исключаящей все иные варианты, уже через пять минут после объявления очередной очистительной бури, расстреливать начинают как раз те самые преступники, от коих так хотелось, и так следовало бы, очиститься. Чтобы думать, будто вот, наконец, настало время, когда очищение сложится иначе, надо рехнуться...

Фантастика в очередной раз оказалась уязвимее многих иных видов искусства. Ровно в той степени, в какой парализовано разрывом социальных связей и рассыпанием общества коллективное Сверх-Я, ровно в той степени, в какой расколоты и раздроблены образы того, каким общество хочет быть, и того, каким общество быть не хочет, того, как достичь желаемого, и того, как избежать нежелаемого, – фантастика лишена прежнего, в течение десятилетий бывшего основным, смысла своего существования.

Затруднительность текстуального построения хоть сколько-нибудь приемлемого эмоционального единства усугубляется еще и тем, что в мозгу пусть даже порядочных людей продолжают искрить – иногда осознаваемо, чаще же только для окружающих заметным образом – вековые ошибки, полярности и разломы; никуда от них не деться за десять, тридцать, сто лет. Пример навскидку – ну, скажем, прекрасная песня „Офицеры“, действительно воодушевляющим образом точащая из слушателей живую слезу. Но: „Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет, заставляя в унисон звучать сердца“. Отдавал ли себе отчет автор текста, что свобода не может заставить, а если она заставляет (я уж не говорю про „унисон“), то она уже не свобода? Но на-

ша „свобода“ – это понятие, с радищевских и пушкинских времен прилетевшее к нам как смысловой антоним и ценностный соперник прогнившему самодержавию. А „заставить“, если заставляют делать то, что считается в данное время ценным и надлежащим, – это просто как вывих вправить. И вот, эти слова поставлены рядом. Это наше, глубинное, абсолютно естественное, ведь мы все – одно тело, да еще единое с самим Христом...

Мелочь, конечно. Но сколько таких мелочей происходит по стране ежесекундно! И потом, хорошо, если только песня. А коль дойдет до дела? Ах, тебя свобода не заставляет звучать в унисон? Стало быть, ты враг свободы? Вяжи его, братва!

В силу этой массы факторов фантастике все больше приходится переключаться на индивидуальную беседу, на поиск контакта со структурами психики отдельно взятого индивидуума, в конечном счете – на эмоциональную и адаптивную подпитку индивидуальных чаяний и отвращений.

Это кардинальным образом меняет ее облик.

6

Но отнюдь не отменяет ее. Похоже, даже расширяет спектр ее возможностей.

Во-первых, новое дыхание получает исстари существовавшее направление, в той же мере, что и обычный реализм сосредоточенное на овеществлении индивидуальных желаний и страхов, всегда, в любой социальной ситуации, прущих из индивидуального подсознания. Реально существующее общество не становится здесь персонажем и присутствует как легко и однозначно узнаваемый фон – но переживания одного человека, будучи материализованы текстом, вырастают в самостоятельные, а подчас и эмоционально доминирующие образы. Типичные фэнтези пополам с хоррором – гоголевские „Вий“ или „Страшная месть“. Типичный фантастический реализм – гоголевский же „Портрет“, „Метаморфоза“ Кафки, „Южное шоссе“ Кортасара. Серьезных произведений, продолжающих эту традицию, именно в последние годы у нас появилось немало – но я специально не буду ничего и никого называть, чтобы не уклоняться в мелочные разборы отдельных вещей.

Никто не исключил, разумеется, и возможности создания текстов, апеллирующих к переживаниям, общим для своей изо-ломикрогруппы – прекрасный термин Лема-Брускина, день ото дня становящийся все более актуальным. Просто очень уж велик тут риск сорваться в сермяжную злободневность, как правило, пагубную для литературы. Страшно поставить последнюю точку и вдруг сообразить, что оказался создателем беллетризованной программы „Выбора России“ или ЛДПР; впрочем, кто когда-нибудь слышал или читал их программы в связном виде? К тому же фантастическая литература знает по крайней мере один пример, доказывающий, что сиюминутность пагубна для нее не фатально, и пример не хилый – „Божественная комедия“. Кто такие гвельфы, кто гиббелины, вряд ли вспомнят не специалисты; а кто такой Данте, знает каждый мало-мальски образованный человек, даже если „Божественной комедии“ не читал.

В последнее время появилось несколько поразительных произведений – и в жанре сказки, и в жанре фэнтези, и в жанре квазиклассической НФ, – использующих своеобразный прием. Тем или иным образом автор ухитряется ненавязчиво пояснить читателю, что все нижеописанное – вранье. И затем в меру дарования совершенно свободно и непринужденно советует Разумное, Доброе, Вечное: человек есть любовь; простить можно все; и в рубище почтенна добродетель... И вот забавный психологический трюк: именно изначальное саморазоблачение сразу снимает недоверие, которое в нашей ситуации, при нашей раздраженности начали бы вызывать переживания и поступки персонажей, проросшие из этих вечных истин. Сопереживание водущеволюющему вранью, когда оно само фактически себя так называет, парадоксальным образом облегчается, а следовательно, облегчается выполнение этим враньем своих социально-психологических функций. Только очень важно тут соблюсти меру, иначе легко сорваться в инфантилизм.

Возникла и успешно плодоносит несколько, на мой взгляд, мрачная группа – говоря по совести, так и просятся на язык слова „сатанинская секта“, – называющая свое направление „турбореализмом“. Там чрезвычайно много стреляют, калечат, насилуют и вживляют в мозги жертвам электроды; в одном из наиболее концептуальных произведений „турбо“ прямо дается понять, что Христос второго пришествия будет рожден Сатаной и при этом все равно останется Спасителем – правда, сначала

нам придется его спасать. Оно, конечно, вполне в духе марксизма-ленинизма, вконец вульгаризировавшего гегелевы единство и борьбу противоположностей, в духе фраз: „черное – это белое“, „война – это мир“. Как представишь, что Страшный суд будет вершить не Один из Троицы, а биологическим путем произросший из дьяволова сперматозоида ублюдок! Как представишь его критерии, накатывает тупая тоска, от которой один только шаг до ненависти ко всему и вся. Значит, налицо очередная дисфункция литературы. Опять бескомпромиссные борцы с ханжеством и лицемерием, апологеты горькой правды о человеке? Честное слово, словно бы специально на этот случай произнес апостол Павел в „Послании к коринфянам“: „Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал бряцающий. Впрочем, возможно, я слишком уж глубоко копаю, на манер моей врачихи из больницы Академии Наук; очевидным же фактом является то, что „турбо“ за последние три-четыре года дало по крайней мере три-четыре первоклассных произведения.

Наконец, вместе с вползающим в наши просторы с медлительной стремительностью новым, не имеющим никаких аналогов в прошлом глобальным фактором – компьютеризацией, вползает к нам и порожденное им своеобразное направление в фантастике: „киберпанк“. Не исключено, что в какой-то момент оно окажется наиболее социальным направлением и займет, по крайней мере по формальным признакам, место классической советской НФ; как и она, „киберпанк“ неразрывно связан с техникой, а во-вторых, будь ты хоть красный, хоть коричневый, хоть черномырдый, хоть яблочный в рыбку, ты, когда читаешь и пишешь, пользуешься буквами, одинаковыми для всех, общими для всех. А если эти буквы начнут, что называется, вести себя? Начнут жить своей жизнью, по своим законам, о которых ты, отнюдь не Кирилл и Мефодий, а просто пользователь, не имеешь ни малейшего представления? А если некий хитрец сумеет с алфавитом о чем-то договориться? Мне „киберпанк“ не близок, но я знаю уже двух людей, которые способны не только к переживанию коллизий, но и к актуализации своих переживаний вполне достойными текстами. Жаль только, что основным переживанием в них опять-таки является неизбывное „все дерьмо, кроме мочи“; что ж, время такое...

Словом, утверждать, что, поскольку в условиях свободы слова

отпала необходимость говорить эзоповым языком, фантастика кончилась или что она „временами исчезает“, как это заключил, например, в своей статье М.М. Нехорошев („Нева“, 1995, № 4), можно только, если нарочно приставить, как адмирал Нельсон, подзорную трубу к давно выбитому глазу. Но заносчивый британец, по крайней мере, выиграл таким образом для своей Англии битву за Копенгаген; а что выигрывается тут, убей Бог, не понимаю. Зато прекрасно понимаю, почему не видит объекта уставленный в подзорную трубу глаз. Скажем, уважаемый М.М. Нехорошев, произнеся несколько дежурных фраз о том, что НФ – дело неплохое, немедленно проговаривается: упоминая о просто прозе, он называет ее „настоящей прозой“, а упоминая двумя страницами позже о фантастике, он именует ее „чертовой фантастикой“. Этак по-свойски.

Почему же она не настоящая проза? Очень просто. Потому что научная фантастика – это только то, где моделируются несуществующие миры. Вообще его статья хоть и небольшая, но очень забавная обилием давно, казалось бы, изжитых ошибок, и я не откажу себе в удовольствии процитировать: „Жанр ... фантастики рисовал миры вообще несуществующие, автор ... создавал некую умозрительную модель, помещая ее в иное время или пространство. Эта модель ... для того и придумана, чтобы получить возможную картину жизни, „проиграть“, как это делают футурологи, возможные варианты будущего, поставить мысленный эксперимент“. Уф! Как инженерством человеческих душ-то пахнуло! Подошел писатель к кульману, взял рейсфедер, взял калькулятор и с воплем: „Дай-ка я чего-нибудь новенькое придумаю!“ как пошел миры моделировать; моделировал, моделировал... Точь-в-точь по столь же дебильному, сколь и сальному анекдоту: нашел Иван-царевич свою лягушку и давай на ней жениться, и давай на ней жениться!

Но позвольте. А, скажем, „Анна Каренина“ чем не мысленный эксперимент, чем не модель? Чем не „проигрывание“ человеческих переживаний и отношений в „придуманной“, „умозрительной“ ситуации? Ах, ну да: мир-то вокруг этой модели настоящий. Можно подумать, кто-то в состоянии описать реальный мир, а не свои мысли, не свое представление о нем. Но даже оставим это берклианство, тупо подойдем с рейсфедером и калькулятором: сколько процентов деталей нужно изменить в реальном мире, чтобы он стал придуманным? В качестве противопостав-

ляемой фантастике „настоящей прозы“, использующей фантастический прием, Нехорошев приводит гоголевскую „Ночь перед рождеством“, где кузнец Вакула летает на черте, но кроме черта весь мир – настоящий. Тогда и „Двадцать тысяч лье под водой“ не фантастика, потому что капитан Немо плавает на подводной лодке, а весь остальной мир – настоящий. Или дело в том, что черта заведомо нет (хотя и это утверждение есть не бесспорный факт, а лишь элемент атеистического представления о мире; одна из самых подлых дьявольских придумок – говорить: „Меня нет!“), поэтому у Гоголя – реализм с фантастическим приемом, а подводную лодку при относительно небольшом от уровня жюльверновских времен развитии техники человек уже мог построить своими руками? Но тогда и впрямь у Жюль Верна сугубый реализм с гораздо меньшим, чем у Гоголя, фантастическим приемом... А уэллсовский человек-невидимка бродит и мечется по целиком придуманному миру, что ли? Да вроде нет, самая натуральная обывательская Англия конца прошлого века. Столкновение реального мира с чем-то, чего в нем до сих пор не было, обуславливает конфликты. Момент столкновения и есть детонатор переживаний. Значит, не фантастика. А „За миллиард лет до конца света“ Стругацких? В обыкновенную питерскую квартиру середины 70-х вламывается Гомеостатическое Мироздание, а люди все – как мы, и винище обыкновенное, и телефон без стереоэкрана. Не фантастика. А Борхес в „Вавилонской библиотеке“ смоделировал абсолютно самостоятельный, не имеющий в реальности аналогов мир – значит, „чертова“ НФ, а не „настоящая“ проза...

В декабре 89-го вышла в „Неве“ моя „Не успеть“, и через пару месяцев „Лит. Россия“, кажется, обрушилась на нее с разносом. В разносе было что-то вроде: „И мы вздрагиваем от размеров предсказываемой автором инфляции, когда читаем, что бутылка коньяка будет стоить сто девяносто рублей. Но, немного подумав, понимаем, что это невозможно...“ Какой мир был более выдуман – мой из „Не успеть“ или тот, который критик считал реальным?

Ничего мы не моделируем. Просто переживаем – то, что было, то, что есть, то, что будет... То, чего бы хотелось...

И не хотелось.

Ну вот. Сказал – и душу облегчил.

Хотя все это так неважно...

Важно другое. Доброму слову, чтобы прозвучать хоть мало-мальски убедительно, приходится прикидываться враньем. Воодушевит оно кого-нибудь хоть на пять минут или нет – это уже второй вопрос. Первый – вот в чем: чтобы произнести: „Я вас люблю“ без риска услышать в ответ: „Не надо песен!“, нужно самому сразу добавить: „А впрочем, ерунда, не обращайтесь внимания“. Но стоит произнести: „Я вас ненавижу“, как раздаются аплодисменты: „Наконец-то перестал мозги пудрить! Вот теперь можно потолковать...“

Словно у мэнээсов и академиков времен разгара холодной войны, мозги фантастов работают главным образом на изобретение все новых видов насилия – и все новых, все более разнообразных ситуаций, в которых применение насилия действительно ощущается как оправданное. Мир все сильнее индуцирует в писателе желание ругаться и стрелять – как, впрочем, и вообще во всех людях; но писатель, в меру своего таланта насытив это желание новой энергией, без колебаний выбрасывает его обратно в мир, перепасовывает дальше.

С общественным и с индивидуальным подсознанием резонируют только раздирающие нас в клочья эмоции. Люди хотят слышать о себе побольше горькой правды, она развязывает им руки... Вернее, не о себе. Обо всех, кроме себя. О себе они именно сейчас хотят слышать только дифирамбы по типу: „Ты замечательный, ты достоин светлого будущего, ты достоин рая, просто вот из-за всех этих окружающих сволочей, по которым геенна плачет, тебе никак...“ А ведь мы уже знаем, что предвещает такое настроение, и то, что литература начинает идти у него на поводу, да еще в полной уверенности, будто идет к будущему и ведет за собой.

Или я ошибаюсь?

ОТКЛИКИ

Михаил Горелик (Москва)

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ТЕОДИЦЕИ (Вечерние впечатления заморского гостя)

Не знаю, право, преуспел ли Израиль в части киббуцного социализма, но вот в части важнейшего из искусств не преуспел вовсе: страна маленькая, рынок суженный, а удовольствие дорогое – дешевле на стороне получать. И вообще: народ Торы, а изящные всякие искусства – дело сугубо яфетическое. И не трудитесь спорить: это ведь не я вам говорю, а так записано в наших священных текстах. Все равно, конечно, снимают. Я сколько-то там лет назад на каком-то фестивальном показе смотрел: верите ли – не просто плохо, а даже как-то запредельно, какой-то кошмар! Понятно, что в зале сидели одни евреи и этому безобразию с полной искренностью аплодировали, воодушевленные сильным национальным чувством. Потому что это приятно, что у нас есть не только Торатейну, но также киббуц (пожалуйста, сию минуту киббуц визуализируется), Гистадрут, ЦАХАЛ и фалафель, волшебные слова в сущности, без волнения внимать невозможно. Но я еще раз напомню вам, что нельзя объять необъятное: я так понимаю, ежели тебе прописано свыше религиозное служение, то ты уже можешь особенно не суетиться в калашном ряду. Одним словом, если ты рожден майором, то в сенате не служи, если ж служишь, то по шпорам не вздыхай и не тужи.

Кирьят-Йовель – это ведь только кажется, что близко, а на самом-то деле пилить и пилить, да я бы за это время уже в Тель-Авиве прескался. То есть как это не сезон? Это у вас не сезон – а у меня всегда сезон. Потому что, ежели, вот, вода,

так что мешает нам... Холодная? Вы называете эту воду холодной?! Нет уж, оставьте, у нас в полных странах все не так. У нас холодная вода – это лед.

Помилуйте, это смешно, право, Тель-Авив для них край света! Подумать только! Да в Кирьят-Йовель ехать дольше! И попробуй найди здесь чего ночью: попрятались в сукке в окошки отдельных квартир. И между прочим, ежели какой ангел сюда и залетит об эту пору по неясной надобности, то ведь он, понятное дело, говорит только на своем ангельском и пророческом наречии, а язык Серафима Саровского и Александра Пушкина ему совершенно недоступен, потому что ангелы с этим лингвистическим уклоном обретаются на иных широтах. И язык, ведущий в Киев, нем и слаб в Кирьят-Йовеле.

Боже! Что делаю я в этой тьме внешней?! Тель-Авив! Где твои волны, шлифующие гальку у яффского минарета?! Где луна, указующая морским перстом своим на Айю-Софию?! Купаться опасно. Да не купаться! Плыть, а не купаться, неспешно плыть по лунной дорожке, легкий привкус соли, имя, которое дает море. К чему эти предупреждения на иврите, кто, кроме русских, полезет сейчас в воду в этом в высшей степени неудобном для купания месте! Ах, отвезите меня на сей счастливый берег, отвезите меня немедленно, дайте сбросить наконец опостылевшие одежды... Почему холодно? Это вам холодно! Я же сказал: мне не холодно!

Кирьят-Йовель пройдя наполовину, блуждая по безлюдным его улицам, направо, налево (теряя им счет), спросить не у кого, крайне правые, не умеющий отличить правой руки от левой, между хесед и дин, но все-таки ближе к хесед, а может, и ко клиппот? кто знает, спасительная гавань, сушеные бананы, соленые орешки, нет, Смадар, мне не холодно, можно выключить, ах, тебе холодно, как, как там: Льюшенка? все-таки русская песня на иврите приобретает новые очертания, общий ландшафт меняется, совсем другое ля-ля, что может быть общего между Сретенкой и Кирьят-Йовелем? между огев и люблю, тьфу, наваждение, ни звука, ни буквы такой не водится, нет, только не телевизор, я не могу это безобразия, Смарад, Смарад, Смадар, все время путаюсь, Сма-дар, знаешь, что такое по-русски „дар“?

„матана“! „сма“? „сма“ вообще ничего не значит, как ты говоришь, дорон – дар, через греческий? первый раз слышу, очень интересно, далось тебе это видео, Смадар, ей-богу, я ведь сам себе видео, может, все-таки лучше Льюшенка? что? израильский фильм? голубушка, ну, пощади, сушеные бананы, соленые орешки, я уже видел один, мне этого добра не надо, честное слово, я уже сыт, нет, орешки с удовольствием, нужно смотреть? чего не сделаешь ради красивой девушки, да, кофе непременно черный, без молока и, представь себе, без сахара, послушай, Смадар, ну, ты же знаешь, иврит у меня плохой, я же не пойму вообще ничего, ну, хорошо, хорошо, давай, и все-таки, согласись, вот ведь неслучайно, что есть браха на море, ведь есть? и смотри, нет же брахи на кино и на телевизор, ведь нет? потому что это некошерные в сущности животные, ладно, прощай, Льюшенка, как хочешь, кино так кино, ассистент Бога? не слабо, впрочем, мы ведь все понемногу ассистируем, нет, Смадар, милая Смадар, я не могу смотреть на дебилов, я их боюсь, все будет хорошо? может быть, но у меня такая, видишь ли, организация тонкая, некоторых вещей я боюсь, просто не могу на них смотреть, я лучше закрою глаза, и не обращай внимания, что я соплю, ворочаюсь и скриплю креслом, просто я знаю, что мост действительно очень узок, но только, когда смотришь на некоторые вещи, понимаешь, все-таки лучше не перегибаться и смотреть вниз, но я не могу сообщить тебе это на иврите и не смогу никогда, а по-русски? да, пожалуй, и по-русски тоже, очень разный опыт, я не буду смотреть, я буду смотреть и повторять: все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо.

Но что там может быть хорошо, Смадар, если эта девушка в фильме, если она обречена жить в этом ужасе, почему ты думаешь, что для нее ужас? разные условия, каждый привыкает к своим, самодеятельность дебилов, мальчики и девочки танцуют и делают гимнастические упражнения, родители и воспитатели поощрительно улыбаются и хлопают, все равно каждый видит ситуацию своими глазами, можно ли правдиво увидеть себя со стороны, умереть с тоски, кому нужна правда, которая камнем ложится на крылья, ангел смотрит на твои танцы и упражнения, поощрительно улыбается и одобрительно шевелит крылами.

У каждого человека есть имя, которое дает ему плоть, которое дает ему боль и болезнь.

Да, эта девочка, эта девушка, в таком возрасте вообще проблемы с родителями, проблемы со всем миром, а тут еще и это, конечно, отца нет, у матери чего-то у ней такое за кадром не ладится, личная жизнь, какая с такой дочерью личная жизнь, интересно, я ведь совсем ничего не понимаю – такой плотный звуковой фон, ни единого знакомого слова, нет, есть, конечно, знакомые слова, да только они мигом уплывают, разве что на ходу поздоровавшись, не дав себя толком разглядеть и разобраться, что же это, собственно, за знакомство, впрочем, и без слов ясно, все-таки это захватывает, и матери кажется, что сейчас какой-нибудь негодяй воспользуется дуростью дочери, и ей всякое такое все время кажется, она боится, переживает, ужасается, а у дочки, конечно, молодые силы играют, но она просто очень славная, добрая девочка, и она хочет того же, что все девочки на свете, она хочет, чтобы ее любили, и какое-то фатальное непонимание взрослых, самых близких, имя, которое дает одиночество и непонимание, и у здоровых то же самое.

И вот тут возникает бродячий фокусник, он ездит по стране и развлекает детишек всякими штучками-дрючками, и он видит ее боль и ее одиночество, и он разговаривает с ней и показывает ей всякое такое, ну, скажешь тоже, какой я в самом деле фокусник, разве это фокусы, я только ассистент, а кто фокусник? милая девочка, на свете есть только один настоящий фокусник, и ему под силу настоящие чудеса, ты любишь танцевать? я очень люблю танцевать, ты любишь рисовать? ты сделала прекрасную угу, очень вкусную, ты любишь печь угу? ты любишь цветы? ты самое большое чудо на свете, и Он сделал все это, смотри, я покажу тебе кое-что (что за фокус – я все понимаю!), вот смотри, трость, теперь давай сюда свои руки, ага, так и вот так, оп-ля! ха-ха! смотри, цветы расцвели! ну, конечно, я дарю тебе.

И вот она неуклюже кружится меж детей с тростью в руках, и они с недоверием смотрят на нее, оп-ля! цветы расцвели! посох Моше, нет, там были гады, язык эпохи, причем тут эпоха? был же и другой посох, кого изберу, у того и расцветет, и вот

расцвел, зазеленел и принес миндали, из сухой палки, чудо и фокус, цветы живые, цветы бумажные

Спасибо, Смадар, все было действительно чудесно, я рад, фильм? конечно, понравился, я все понял, нет, нет, не слова – они вообще неважны, но я понял фильм, то есть я надеюсь, что понял, до свиданья, Смадар, нет, правда, я рад, что не плыву сейчас по лунной дорожке, я очень люблю плавать, да нет же, я же сказал, что не холодно, но вся, видишь ли, вся штука в том, нет, ей-богу, все-таки это меня расстрогало, у тебя прекрасный дом, Смадар, такой милый вечер, сушеные бананы – очень вкусно, нет, правда, ничего себе теодицея, бумажные цветы, душа моя не принимает фокус с этой девочкой, имя которое дают боль и болезнь, между хесед и дин, зато твоя душа готова принять такие фокусы, от которых потом воротит, Боже, пожалуйста, исцели, пожалуйста, ее, так, 26-й уже не ходит, не надо задерживаться у девушек, а вот какой-то, до таханы мерказит? да? полпути, 23-й, ах! между прочим, предпоследнего не было, и таки действительно прохладно, есть в Эрец-Исраэль прохладные места, не так, как на Руси, когда в печи поленья расцветивают вмиг тугая береста и к чаю подают клубничное варенье, в Москве, говорят, минус 20, березовая роща просвечена солнцем, лыжи так, знаешь ли, постукивают, когда их с размаху вгоняешь в лыжню, ножны, три стожка на поляне, белые праздничные кипы, снег искрится, хрустит в глазах, заячьи следы, имя, которое дает лес, Herr, es ist Zeit: der Winter war sehr gross, чего не потеряешь, слишком разный опыт, если закурить, тут он сразу обычно и появляется, последний, случайный, шофер щелкнул компостером, потемневшая Яффо, Нотр-Дам, ряды пальм, безлюдные Шхемские ворота, арабские улицы, зачем он вообще сюда заехал? вверх, вверх, сто сонных, с полуприкрытыми веками глаз Хайат, Масличная гора справа, засохшая маслина, прозябший посох, расцвел, зазеленел и принес миндали, Смадар, Сма-дар, дар-дорон, цветы винограда, виноградные лозы в цвету, смадар в цвету, и запах их кружит голову, встань же, возлюбленная моя, прекрасная моя, и приди ко мне, длинный пологий спуск, сверкающая лыжня ведет к высокому берегу, золотой крест колокольни,

бесконечно плыть, медленно выдыхая в темную воду, по лунной дорожке, все дальше и дальше от берега, благословен Ты, Господи Боже наш, царь Вселенной, сотворивший большое море, песок и море, плеск воды, между хесед и дин, но все-таки ближе к хесед, дар свыше, имя, которое дает Бог, которое дают отец и мать, которое дают смерть и море.

Примечания

Народ Торы, а изящные всякие искусства – дело сугубо яфетическое – речь идет о сыновьях Ноя: Шеме (в синодальном переводе – Симе) и Яфете. „Шем“ в переводе с иврита означает „Имя“ (то есть потомки Шема – евреи – призваны к освящению Имени Всевышнего в мире), „Яфет“ – значит „Прекрасный“ (потомки Яфета призваны к творению прекрасного).

Торатейну – наша Тора.

Гистадрут – Всеизраильский профсоюз.

ЦАХАЛ – Армия Оборона Израиля.

Фалафель – популярное израильское блюдо.

Кирьят-Йовель – район в Иерусалиме.

Имя, которое дает море – здесь и далее перифразы из знаменитого стихотворения Зельды „У каждого человека есть имя“, ставшего песней.

Направо, налево – на самом внешнем уровне речь тут идет о том, что герой рассказа путается в поворотах улиц, однако, помимо этого, в нынешнем израильском словоупотреблении слова „правый“ и „левый“ имеют острый и бескомпромиссный политический смысл; и наконец, здесь есть и более глубокий смысл утраты ориентиров.

Не умеющий отличить правой руки от левой – Иона. 4.11. – Бог не может не пожалеть город, где люди не в состоянии отличить правую руку от левой.

Между хесед и дин – между милосердием и судом. Перифраз внутреннего монолога героя Малькольма Лаури: „Или же ты мнишь, что я пребываю между Милостью и Разумом, между Хеседом и Биной (но все-таки ближе к Хеседу) ... Словно я был когда-нибудь близок к Хеседу! Скорей уж мне уготованы Клип-

пот!". Хесед, Дин, Бина – модусы Божества в каббале. Клиппа (мн.ч. клиппот) – скорлупа, шелуха, оболочка – силы зла в каббале.

Ассистент Бога – точнее, „Ассистент Бога“ – известный израильский фильм; главная героиня фильма – дебильная девушка, которую блистательно играет дебильная артистка.

Мост действительно очень узок – перифраз слов Нахмана Брацлавского: „Весь наш мир – очень узкий мост. Но главное – не бояться“. Песня на эти слова стала в Израиле шлягером.

Боже, пожалуйста, исцели, пожалуйста, ее – (Чис. 12, 13 – дословный перевод, отличающийся от синодального) – молитва Моше об исцелении Мирьям – самая короткая молитва: короче молиться „нельзя“, всего пять слов, из них два „пожалуйста“. В тексте неясно, о ком говорит герой: о девочке из фильма или о своей душе.

Посох Моше, нет, там были гады – посох Моше, который превращался в змею.

Кого выберу... – перифраз Чис. 17.5 и 8. Речь идет о чудесным образом расцветшем посохе Аарона.

Есть в Эрец-Исраэль прохладные места, не так, как на Руси, когда в печи поленья расцветивает вмиг тугая береста и к чаю подают клубничное варенье – строки из стихотворения Семёна Гринберга „Иерусалимский автобус“, приходят в голову герою рассказа, когда он стоит на остановке в ожидании автобуса.

Herr, es ist Zeit: der Winter war sehr gross (нем.) – Господи, пора: зима была огромна – перифраз строки Рильке из стихотворения "Herbsttag". У Рильке: "der Sommer war sehr gross" (Лето было огромно) – метафора безвозвратно уходящего счастья. Следующая строка: "Leg Deine Schatte auf Sonnenuhre" (Положи свою тень на солнечные часы).

Потемневшая Яффо – Яффо – одна из самых оживленных улиц Иерусалима; „потемневшей“ (относительно) бывает только в ночные часы.

Нотр-Дам – католический центр рядом со Старым городом.

Безлюдные Шхемские ворота – ворота Старого города; в дневные часы – одно из самых оживленных мест Иерусалима.

Арабские улицы – 23-й автобус делает крюк по арабскому кварталу, примыкающему к Старому городу.

Хайат – гостиница на горе Гиват Царфатит, неподалеку от Масличной горы.

Цветы винограда – так переводится с иврита имя „Смадар“.

Виноградные лозы в цвету... – перифраз слов из Песни Песней (2.13).

Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь вселенной, сотворивший большое море – браха (благословение) „на большое море“.

Песок и море, плеск воды – слова из стихотворения Ханы Сенеш „Прогулка в Кейсариин“: „Господи, Господи, никогда не пройдет песок в море, плеск воды и молитва человека“. Песня на эти слова стала шлягером.

Имя, которое дает Бог... – почти дословный перевод первой и последней строфы стихотворения Зельды, но с той важной разницей, что у Зельды последнее слово все-таки „смерть“.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО „МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ“

Тель-Авив 61440, п/я 44050, тел. 03-394525

предлагает

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. Трепет забот иудейских.

Изд. второе, исправленное. 207 стр.

Художественно-философская проза, запечатлевшая опыт духовной биографии еврейского интеллигента из России, его размышления об особенностях еврейского национального характера, о связи и противостоянии русской и еврейской истории, о судьбах русского еврейства.

*Нафтали Прат, главный редактор
Краткой Еврейской Энциклопедии
на русском языке*

ПЕРЕПУТЬЕ ИЛИ СУДЬБА

Можно ли утверждать, что перепутье есть тысячелетняя судьба евреев? И да, и нет. Освенцим, Колыма, а также иные, более ранние исторические примеры говорят об отсутствии выбора и могут ответить на наш вопрос похожими по звучанию словами „казнь“ или „смерть“.

Но сейчас конец двадцатого кровавого века, и евреи, разбросанные по миру (правда, поддержанные знанием о *своем* государстве) продолжают оставаться на перепутье. В данном случае евреи из бывшего СССР.

Сегодня „перепутье“, на котором оказалось еврейство стран СНГ, отличается от „перепутья“ недавних десятилетий. Открылась перспектива принять участие в восстановлении еврейской общинной жизни и еврейской культуры. Доктор Давид Приталь, редактор сборника на языке иврит „Евреи на перепутье“, делает попытку осмыслить с разных точек зрения перспективы развития еврейской жизни в странах бывшего СССР, проблемы еврейского образования в этих странах, сложные проблемы абсорбции выходцев из СНГ в Израиле. До этого, с 1976 года, под редакцией д-ра Приталья выходил сборник „Евреи в СССР“ Сборник этот является самой значительной публикацией на иврите, посвященной эпохее советского еврейства – борьбе за алию, за право определять свою судьбу.

С распадом коммунистической империи начался массовый исход евреев из Советского Союза. Чутко улавливая особенности новой ситуации в СНГ, редактор сборника Давид Приталь и

авторы публикаций рассматривают новые проблемы, решать которые предстоит не одно десятилетие. В сборнике „Евреи на перепутье“ высказываются диаметрально противоположные оценки перспектив развития еврейства в СНГ. Одна из них – у евреев СНГ нет и не может быть будущего в этих странах. Попытки возродить там общинную жизнь обречены на провал. Этой точки зрения придерживаются некоторые чиновники, отмечающие, в частности, что среди евреев бывшего СССР смертность значительно превосходит рождаемость. Политическая ситуация в России и других странах СНГ неустойчива: власть может смениться или изменить свое отношение к евреям под давлением оппозиции. До сих пор, отмечают авторы, не найдено решения ни одной из экономических проблем, которые Россия (и весь СССР) безуспешно пытались решить на протяжении последнего десятилетия.

Один из авторов, д-р Б. Гур, совершенно не верит в возможность воссоздания полнокровной еврейской жизни в странах СНГ. Он, в частности, считает, что социальные процессы в еврействе СНГ – такие, как изменение шкалы предпочтений в сознании евреев бывшего СССР (отстранение от политики, уменьшение престижа высшего образования, увлечение бизнесом), – частично вызваны неуверенностью в перспективах развития экономики на пути к рынку.

Его оппоненты, руководители ВААДа М. Членов и И. Зиссельс, оспаривают точность демографических данных о стремительном уменьшении еврейского населения СНГ. По их мнению, на протяжении ближайших 25-30 лет в СНГ будет существовать большая еврейская община, насчитывающая несколько сотен тысяч человек. При этом авторы обвиняют еврейские организации в Израиле и в странах Запада в том, что на них лежит немалая ответственность за неуспех попыток возродить еврейскую общину в СНГ. Сильным аргументом в пользу позиции тех, кто не верит в будущее такой общины, служит статья Р. Нудельмана „Евреи в зеркале русских идеологий“, открывающая первый раздел сборника „Настоящее и будущее еврейской общины в странах СНГ“. Статья свидетельствует о том, что антисемитизм, несмотря на падение своего влияния в России, вовсе не является исчерпанной темой.

А вот мнение Дж. Шайна, занимающего важное положение в Джойнте: „Несмотря на надежды на репатриацию большинства евреев из СНГ в Израиль, сохраняется возможность другого

сценария: еврейские общины будут продолжать существовать в СНГ еще долгие годы, если не постоянно. Всемирное еврейское сообщество должно им оказывать помощь, чтобы они могли развиваться на здоровой основе с опытом, накопленным еврейскими общинами во всем мире“.

Судьбе 280 тысяч советских евреев, которые влились в богатую и влиятельную еврейскую общину США, посвящено обозрение профессора Стивена Голда. Он приходит к выводу, что евреи, эмигрировавшие из бывшего СССР в США, обладают в общем высоким уровнем образования и отличными профессиональными способностями, однако, в отличие от американских евреев, не стремятся примкнуть к официальным еврейским организациям; им чужды религиозная мотивация и стремление к формальному еврейскому образованию.

Д-р Д. Приталь по поводу этих рассуждений высказывает сожаление о том, что автор не подчеркнул тревожную тенденцию все нарастающей ассимиляции евреев в США, что представляет собой реальную демографическую угрозу самому существованию большой еврейской общины в Америке.

Еще более противоречивые чувства у редактора сборника (и не только у него) вызывает факт роста еврейской эмиграции из СНГ в Германию. Создается впечатление, что люди, избравшие местом своего проживания Германию, испытывают некоторую неловкость и в поисках оправдания своего выбора стараются обвинить Израиль в нежелании принимать олим из СНГ.

„Израиль. Испытание репатриацией и абсорбцией“. Так назван один из разделов сборника, материалы которого дают богатую пищу для размышлений. Речь идет, в частности, об абсорбции ученых и учащихся, о смешанных семьях и переходе в еврейство и т.д. Д-р Марина Солодкина анализирует нематериальные факторы, оказывающие влияние на интеграцию али-90 в израильское общество. Автор показывает, как синтез черт еврейского национального характера и русско-советской ментальности, являющийся особенностью олим из бывшего СССР, становится источником своеобразного „критического патриотизма“, позволяющего в будущем осуществить успешную интеграцию олим в израильское общество.

Другие авторы (С. Бромберг, А. Венгер, В. Ротенберг) анализируют характерное стремление новых репатриантов отделить область культуры от других областей жизни и сохранить верность

русской культуре при одновременном усвоении израильских норм в быту и на службе.

Особое место в сборнике занимает тема абсорбции ученых-новых репатриантов. Сам д-р Д. Приталь был еще в 1973 г. инициатором создания центра по абсорбции ученых, который действует и по сей день в рамках министерства абсорбции. В сборнике напечатано краткое изложение программы профессора Э. Гилады по продолжению финансирования деятельности ученых-репатриантов. Но, несмотря на то, что программа Э. Гилады была принята правительственными инстанциями, в словах редактора, умудренного горьким опытом прошлого, звучит грустная нота скептицизма...

По мнению Д. Приталья, абсорбция учащихся представляет собой один из важнейших моментов абсорбции вообще. Он считает, что все еще существуют культурные перегородки между детьми-сабрами и теми, кто недавно прибыл в страну. Данные исследований, приведенные в сборнике, на живых примерах показывают трудности, с которыми сталкиваются учащиеся из СНГ в попытках установить контакт со своими сверстниками в израильских школах.

Процесс абсорбции учащихся труден, но молодежь тем не менее легко учится и воспринимает новое. Оснований для оптимизма здесь больше, чем во многих других сферах жизни, считает д-р Давид Приталь.

Существует в нашем обществе болезненная проблема, наченная взрывоопасным материалом огромной силы, который может взорваться уже в ближайшем будущем. Это проблема смешанных семей и переход в еврейство (гиюр). В сборнике представлены мнения тех, кто придерживается ортодоксальных религиозных воззрений, а также их оппонентов. Так, журналист Лев Авенайс в статье „Нееврейский вопрос“ активно выступает против попыток изменить Закон о возвращении, предпринимаемых под предлогом, что его нынешняя формулировка позволяет стать гражданами Израиля огромному числу неевреев. Он считает, что такое законодательство носит расистский характер.

Этот раздел сборника завершается рассказом нового репатрианта Б. Гиномдана „Шомронская пастораль“. В нем описывается тихая драма, происходящая в жизни шестилетней девочки, которая репатриировалась со своей семьей из СССР. Встреча с

новой средой, трудности вживания описываются так, как видит их девочка. Да и в семье ее неладно: из контекста рассказа читатель начинает понимать, что мать этой девочки – нееврейка.

Д-р Приталь подчеркивает, что это болезненная проблема, на всестороннее и исчерпывающее освещение которой сборник не претендует: это интегральная часть всей проблемы абсорбции, и решение ее может быть только всеобъемлющим.

Последний раздел сборника содержит материалы, посвященные движению за репатриацию евреев СССР в 70-е годы.

...Когда в 1976 году Давид Приталь издал первый сборник „Евреи в СССР“, его публикации сразу же сделали главным каналом, по которому голос еврейской интеллигенции из Советского Союза, не искаженный пересказом, доходил до слуха израильской публики. А то, что евреи находятся на перепутье, что ж, это их судьба – быть в пути. И, как сказал писатель Александр Кучерский, „не так уж плохо, если ощущаешь себя хотя бы закваской, которой нужно перебродить, чтоб поднялось национальное тесто“.

Скоро начнется третье тысячелетие, а закваска наша – бродит.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО „МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ“

Тель-Авив 61440, п/я 44050, тел. 03-394525

предлагает

ЗАГАДКИ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ (сборник) 250 стр.

Нерешенные загадки, странные факты и увлекательные гипотезы – таков спектр тем этого первого в своем роде сборника, в центре которого – первый перевод на русский язык знаменитой книги З. Фрейда «Моисей и монотеизм» и первое на русском языке изложение всемирно-известных книг И. Великовского.

ЕВРЕИ И ЕВРЕЙСТВО (сборник) 180 стр.

Сборник оригинальных (А. Волин, А. Воронель, М. Каганская, И. Рубин и др.) и переводных (М. Бубер, А.-И. Гешель, Э. Фромм, А. Штайнзальц) работ, вскрывающих уникальность и смысл еврейской истории и национального характера.

Михаил Хейфец

КЕМ РАБОТАЛИ ЕВРЕИ

Запомнилась мне необычная мысль Льва Толстого о русской истории. Наши историки, заметил писатель, всегда пишут, как народ грабили и как воровали („Что делают в России?“ – „Воруют.“), как жгли и воевали... Никому в голову не приходит спросить: откуда же бралось награбленное, наворованное, сожженное, амуниция, оружие, фураж для армии? Кто же в России работал, чтобы вековым трудом создать великое государство?

...Это же раздражает и меня, когда читаю материалы, о еврейской истории: всегда мне подробно сообщают о погромах, резнях, изгнаниях, диспутах богословов с каббалистами, ересях и ортодоксах. И ничего не пишут – чем и как конкретно жил мой народ в ежедневном быту. И соответственно – почему смог выжить в Темные и Средние века. Свыше полуторы тысяч лет.

В какой-то степени феномен объясняется общим еврейским отношением к национальной истории. Ею признавались лишь моменты прямого вторжения Б-жества в жизнь Избранного народа – такие моменты записывались хронистами, обдумывались, потом толковались тысячелетиями. А связанное с национальным бытом – это считалось в сравнении с Вечным тленом и прахом, недостойным упоминания. Еврей, он соблюдает заповеди („мицвот“), учит Тору и – для поддержания грешного тела, этого сосуда для изучения Торы и продолжения рода, как-то, когда-то, где-то работает. Но как и где – для еврея значения не имеет.

Поэтому так ценны для меня нечастые книги, где по крохам, взятым часто не из еврейских, а из аборигенных архивов (обычно церковных) я узнаю, как реально жил мой народ и чем занимал-

ся. Вроде бы само собой разумелось: в эпоху нетерпимости и идеологической злобы Средних веков никто не терпел бы у себя в доме иноверческий народ, если он не считался аборигенами совершенно необходимым... Как только нужда в евреях проходила, их обычно изгоняли. Но все-таки – что за нужда такая была? Не находим же мы в католических городах православных кварталов, не найдем в православных городах – католических анклавов, а вот еврейские гетто находим повсюду. Почему? Более того, как могло стать, что регулярные изгнания евреев не привели народ к уничтожению? Если изгоняют – значит, где-то приняли? Почему? Нередко историки сообщают: в таком-то году евреи были изгнаны из такого-то города и вернулись только через, скажем, десять лет. Но ведь если их изгнали, то зачем через какое-то время пригласили снова? Властям достаточно было не изменять уже существующее положение – чего уж проще? А они снова призывали евреев в свой город или страну. Зачем?

...Возможно, так трудно осмыслить эти сравнительно простые истины еще и потому, что мы невольно заражены российско-крестьянским восприятием посреднических функций в обществе как этаких нетрудовых, эксплуататорских, а сферу услуг воспринимаем как не слишком серьезный и не слишком важный в общем хозяйственном процессе механизм. (Например, лишь из диссертации моего покойного учителя профессора Ш. Этингера я узнал, какую колоссальную роль сыграли евреи в освоении Украины, дотла уничтоженной в 13 веке монгольскими кочевниками. Сабли украинской Реконкисты были, в основном, польскими и литовскими; плуги и скотные дворы – украинские; но вся организационная деятельность, без которой, как мы знаем, труд не дает настоящей отдачи, была еврейской. Хозяйственную структуру возрождавшихся украинских земель создали евреи. И потому-то тотальные погромы казаков Хмельницкого явились не следствием одного лишь православного фанатизма, как виделось издавна, но трезвым политическим расчетом „старшины“. Изгнав – геноцидом – украинское еврейство, эта украинская знать („старшина“) лишала королевско-панскую власть центральной опоры на Украине, любой возможности вновь вернуться. Эта же „старшина“ лишила Украину выхода в Европу: страна неизбежно и законно пала в мертвящие трехвековые объятия „белого царя“...

Вышесказанное – вступление к размышлениям над книгой профессора-балканиста Марэна Фрейденберга „Евреи на Балканах“ (На исходе средневековья), изданной „Гешарим“ в 1996 г. Анализируя балканские архивы, Марэн Фрейденберг изобразил для нас, читателей, то, чем веками занимались еврейские общины на землях от Марбурга на севере до Салоник на юге.

Итак, почему и кому евреи оказывались нужными в христианском и исламском мире, кем и почему изгонялись? Римская цивилизация рухнула под мечами кочующих племен варваров, которые умели управлять только мечом же, насилием. Монгольским ордам для создания государств в аналогичной ситуации требовались китайские или хорезмские чиновники и купцы – в Европе „слугами казны“ были признаны евреи. Для любой короны они строили систему централизованных экономических отношений.

При чтении книги Фрейденберга я впервые узнал конкретно, как была построена на практике ростовщическая функция в том обществе. Оказывается, все полностью контролировалось „короной“, чьими слугами считались местные евреи, даже более тщательно, чем в современных странах коммерческие банки контролируются Госбанком. Казна устанавливала размер процента, она же устанавливала форму заемных обязательств, гарантировала возврат денег. Если король считал, что какой-то должник почему-то нужен короне, владыка мог распорядиться ликвидировать все долги этого слуги! Сами евреи признавали подобное распоряжение своими деньгами законным. И позже субсидировали этого „прощенного“ феодала, как ни в чем ни бывало...

Без коммерческого кредита невозможно развивать буржуазное хозяйство: пока евреи выполняли функции банковских контор, они оказывались необходимыми. Занимались они и торговлей. В нашем представлении торговля связана с деятельностью купцов. Однако купцов-то было не так уж много – а чем занималась остальная часть кагала? Ведь торговля требует огромного дополнительного персонала – обслуги на постоянных дворах, погрузчиков, людей, сопровождающих торговые караваны, охраняющих товары в пути и проч. Откуда люди брались? Это была необходимая функция, – но ведь подавляющее большинство населения было прикреплено к земельным наделам. И потому еврейская функция на средневековых Балканах сводилась имен-

но к налаживанию реальной оптовой и розничной торговли, обмена товарами, подготовившего возникновение на континенте новой цивилизации.

Евреи планировали и создавали новые торговые пути – и почти никто другой этим не мог заняться. Например, согласно анализу Фрейденберга, они установили торговые связи между православными крестьянами Балкан, подданными османско-исламского султана, продавая продукты их сельского хозяйства (зерно, кожи, воск и пр.) на рынок главного потребителя – католической Италии. В центре одной из глав – образ дельца-еврея, задумавшего и многолетними усилиями пробившего в жизнь план создания порта Сплит, одного из важнейших перевалочных пунктов Адриатического побережья – до сего дня. Венецианская республика наградила этого персонажа фрейденберговской книги пожизненной пенсией – за выдающиеся заслуги.

Книга не лишена недостатков. Главный из них есть продолжение ее же достоинств. Фрейденберг настолько владеет материалом общей балканистики, что ему, видимо, в голову не приходит разъяснять нам реалии, которые кажутся самоочевидными специалисту. Но они отнюдь не очевидны для читателей... Например, эта книга лишена хорошей карты! Может, кто-то знает, где находились в Средние века Штирия, Крайна и Каринтия, а мне, например, сего знать не привелось... Или другой пример. Фрейденберг мимоходом упоминает сюзеренов балканского региона – венгерских королей. (До чтения его книги я, признаться, не подозревал, что Венгерское королевство веками хозяйничало на большей части Балкан. А многие ли из вас это подозревали?) Таких, „само собой разумеющихся“ сведений – множество. Почти случайно, например, автором замечено, что в Белграде численность евреев и христиан до конца 17-го века была примерно равной. Я был ошеломлен: так что же, Белград, оказывается, был еврейским городом? Через несколько страниц выяснилось – аборигенное население Балкан составляли, по выражению Энгельса, „пастушеские народы“, а города-крепости строили совсем другие, в частности, турки-османы – и в результате городское население по преимуществу являлось мусульманским...

Книга положила лишь начало изучению темы, и недостатки ее – недостатки любого начала.

Альберт Ритенберг

«ЗАЧЕМ Я ГОВОРИЛ. КОМУ. Я НЕ О ТОМ.»
(Несколько соображений о журнале «Двоеточие»)

Всегда существует некая интеллектуальная мода, всегда существуют имена, которые неудобно называть, и тексты, на которые неловко сослаться. Более того, существуют слова, до того затертые употреблением всею, что даже когда чувствуешь необходимость ими воспользоваться (за неимением синонимов), рука не поднимается написать, скажем: постмодернизм.

Вышеприведенный абзац, кстати, является иллюстрацией одного из постмодернистских приемов - в случае, если, как писал Умберто Эко, „невозможно начать роман фразой „стояло холодное утро конца ноября“ и не превратиться в Снупти (идиота), то нужно, чтобы эту фразу произнес сам Снупти. Иными словами, постмодернистскому сознанию литература представляется складом мертвых дискурсов, и рефлексирующий автор не может воспользоваться ни одним из них, не обрушив на себя лавину коннотаций, отчуждающих от него собственный текст. Единственным выходом тогда становится игра, разрушающая претензии каждого типа дискурса на абсолютную власть, такие эки-воки - „нет ничего банальнее боязни банального - это банальность“. Впрочем, все это, как говорил И.В. Сталин, „уже было сказано и пересказано...“ Существенно же то, что именно игровой, агональный элемент культуры определяет постмодернистское сознание. Можно сказать, что постмодернизм понимает пространство культуры как площадку для игр.

Примером такого подхода в наших палестинах может служить литературный журнал „Двоеточие“ (гл. ред. - Гали-Дана Зингер). Обложки номеров журнала - белые у четных, черные у нечет-

ных - как как бы иллюстрируют идею игрового поля. (Вспомним известную фразу М. Бубера о человеке, играющем бесконечную шахматную партию с Универсумом).

В журнале нет „публикаций“ в обычном смысле этого слова - он построен по принципу синтагматического согласования текстов. Напомню, что синтагматическим согласованием называется такой тип отношений между знаками, где знак приобретает значение, сопоставляясь со своими „соседями“ (другими знаками). Существенно то, что в текстах выявляются элементы, связывающие их в некое композиционное единство, в гипертекст - коллаж. Эти элементы я бы назвал „силовыми линиями“, которые редакторы как бы прочерчивают, соединяя тексты. Замечу, что этимологически текст означает „ткань“, что позволяет предположить в ней некую нелинейность, пересечение продольных и поперечных „волокон“ смысла, а также потертости, дыры, разрывы. А кому не встречались „вылинявшие“, застиранные или грязные тексты?!

Свою задачу редакция „Двоеочия“ видит в том, чтобы сшить из этого разнообразного материала очередной номер. (Шесть номеров журнала, стоящих у меня на полке, называются „подшивкой“ - очаровательное слово!). Итак, как говорилось выше, выполнять свою работу редакторам позволяет неизоморфность текста, беспорядочность проходящих через него „силовых линий“, которые надо лишь соединить, сплести между собой; редакторы, если угодно, плетут паутину, в которую должен угодить читатель-гифолог („гифос“ по-гречески означает „ткань“, „паутина“, это словечко - „гифология“ - предложил Р. Барт для обозначения теории текста). Работа и игра такого читателя-гифолога состоит в том, чтобы, читая журнал подряд, как книгу, эти линии рассмотреть и, возможно, найти собственные.

Как и положено среднестатистическому читателю, обратимся прежде всего к оглавлению последнего номера. Читаем по порядку:

Х. Голан „Народное личение“, М. Кундера „Симпозиум“, Д. Пагис „Мозг“, И. Малер „Госпиталь“, А. Щерба „Кто зарезал главврача?“, О. Шмаков „Себе“, Ю. Аптер „Нога“, Ф. Хушинский „Хуёвое исследование“, Д. Голышко-Вольфсон „Пэ-Бургская повесть“, М. Король " Ibo dies notanda lapillo", Д. Сливняк „Апология Сливняка“, Д. Рокеах „Из цикла „Алхимия знания“, Э.М. Чоран „Декорум знания“, Я. Йегошуа „Болезни и лекарства“, Е. Сошкин

„Бессонница“, Л. Трёмбвлер „Милость Иакову“, И. Шаро „Больной“, Н. Мушкин „Из трактата о вреде здоровья“, Г. Грезин „Клизма, клистир и фантазия“, „Итоги консилиума“.

Терпеливо прочитав все заголовки, попробуем сосредоточиться и сделать предварительные выводы. О чем могла бы идти речь в данном номере? Не вызывает сомнения медицинская направленность выпуска. Просто какой-то „Гигроскопический вестник“! Некоторые названия, правда, затуманивают картину, но не настолько, чтобы заставить усомниться в возникшем предположении. Латынь М. Короля мы пока не разбираем, ну да ладно - латынь - язык медиков и алхимиков (см. Э.М. Чоран), а „Апология Сливняка“ может оказаться чем угодно, ну хотя бы стенографической записью бреда.

Начнем теперь читать последовательно один текст за другим, тем более, что нам не терпится разрешить как можно скорее первую из возникших загадок - почему в сочинении господина Х. Голана слово „личение“ пишется через „и“? По мере чтения журнала „мы обнаружим, что внешняя, „медицинская“ линия не только не единственная, но, возможно, и не самая существенная. На более глубоком уровне тексты связывает проблема человеческого сознания, механизма мышления, процесса познания и творчества, отношения сознания и реальности, то есть - мозга.

Таким образом, центральным текстом становится поэма Дана Пагиса „Мозг“ (перевод с иврита Г.-Д. Зингер). От него разбегаются силовые линии - нервы к остальным текстам: „...врачи брали мозг для чего? Хорошо, что она умерла, ато былаб глупая“ (Х. Голан); „На этот раз он был... (в том уголке сознания, на который паралич не распространился) изумлен. Как это его желание обладает такой силой, что заставляет реальность покорно и поспешно осуществлять его“ (М. Кундера) „А ты верно мыслишь, верно мыслишь иногда, Соколов!“ (А. Щерба); „...ты дурак, попробуй силу своего воображения настолько расшевелить, чтобы представить себя на месте скончавшегося трупа. Кто она и что она чувствует?“ (Ф. Хушинский); „Доконало меня обострение мнемони, от себя никуда на тот свет не деться“ (Д. Голышко-Вольфсон); „Но увy, девятнадцатого на //По бедру холма сходящие сошли с ума“ (М. Король); „Если достаточно долго срывать маски, обнаружишь череп“ (Д. Сливняк); „Оно приходит не как тоска, скорее - как нетерпеливость, // как мысли, отслаи-

вающиеся от их покрова". (Д. Рокеах); „Уровень сознания различен в разные эпохи, но само сознание не возрастает в результате их последовательной смены“ (Э.М. Чоран); „Последователей амаритской школы отличало от мутазилитов прежде всего представление о возможностях человеческого разума“ (Л. Трёмбвлер) и т.д. и т.п. Дело, в сущности, не в цитатах, мы обнаруживаем, что вся ткань журнала пронизана этими нитями.

Но мы можем различить и другие темы. К примеру „Неопределенность всего сущего“ (так называется глава из повести М. Кундеры). От нее также протянулись нити к другим текстам: Д. Пагис, „Я очутился в сумрачном лесу, // земную жизнь пройдя до половины, // в чаще сосудов, сам я и мой суд // и между ними кровь во тьме долины // пробила путь и хлынула в проём // моя хозяйка кровь, моя рабыня. // Зачем я говорил. Кому. Я не о том. // Ведь я не это вам хотел сказать. // Алло? Кто там? Кто слушает? Приём?"; „Темна твоя жизнь, как и загадочна ее природа“ (И. Малер) и далее по списку...

Так, все пристальнее всматриваясь в ткань, мы обнаруживаем далее, что важнейшей является, возможно, тема взаимоотношения личности и фатума, частностей и системы, свободы и предопределения:

„Если бы была причина, ее можно было бы предусмотреть, и это позволило бы заранее предопределить мое поведение. К счастью, эта беспочвенность дарует нам крохотную толику свободы, к которой мы должны неустанно стремиться, чтобы в этом мире железных законов оставался маленький человеческий беспорядок“. (М. Кундера). Об этом, в сущности, вся пьеса А. Щербы, весь пафос статьи Н. Мушкина, вся прелесть прозы Ф. Хушинского, и в этом же ответ на наш первый вопрос - почему в сочинении господина Голана слово „личение“ пишется иногда через „и“, а иногда, как выяснилось, через „е“.

За ограниченностью пространства ограничимся перечислением обнаруженных нами линий в ткани остальных номеров „Двоеточия“.

Номер 1: Русский роман. Российско-израильские связи. Относительность понятия авторства. Канон и ересь. Тема и вариации.

Номер 2: Английско-еврейские связи, английское присутствие в Палестине. Странствия, путешествия, паломничества. Поиски ускользающего текста. Тюрма, замкнутое пространство. Обманчивость пространства, зеркальность. Вода.

Номер 3: Бог, религия и ритуал. Книга. Парадоксальность времени. Литература как герменевтика.

Номер 4: Балет. Миф поэта. Мифотворчество - стихотворчество - хореография. Игровое, пародийное литературоведение. Речь и безмолвие, высказывание и умолчание.

Номер 5: Женский вопрос. Эротика. Исторические литературные жанры и формы. Подлинность и притворство.

Разумеется, любого из авторов можно читать и „по отдельности“, и все они этого заслуживают, но тогда вы не почувствуете особый вкус этой странной книги - „Двоеточия“, которая приглашает вас в бесконечное и полное приключений путешествие по пространству культуры, где „ у каждого свой букварь, все делают, что хотят“ (Г. - Д. Зингер).

Ж.Батай когда-то писал, что „игры нет иначе, как в открытом и безудержном вызове тому, что противно игре“. Игре в литературе противится претензия каждого типа дискурса на абсолютную власть, на „окончательное решение литературного вопроса“ (А. Гольдштейн). „Двоеточие“ - „игровой“ журнал, предлагает тексты, такие и таким образом организованные, что они „расшатывают привычные представления читателя о литературе, вызывают кризис в его отношениях с языком (Р. Барт), и разрушая социокультурные мифы читателя, помогают ему создавать новые, - собственные.

P.S. При написании этой статьи автор порой пользовался постструктуралистским жаргоном, за что приносит искренние извинения читателю, с этим языком незнакомому, и в особенности - читателю, которому он известен.

**В последнее время журнал поддержали
пожертвованиями следующие лица:**

Бовин А.Е. (Тель-Авив) – 80 шек.,
проф. Любич Ю. (Хайфа) – 50 шек.,
д-р Мучник Г. (Хайфа) – 30 шек.,
Менджерикский Э. (Иерусалим) – 30 шек.,
Фабрикант Л. (Иерусалим) – 60 шек.,
Трецан О. (Тель-Авив) – 300 шек.

*Редколлегия выражает глубокую благодарность
преданным друзьям журнала.*

Главный редактор — Александр ВОРОНЕЛЬ

Редакционная коллегия:

Н. ВОРОНЕЛЬ, Н. ГУТИНА, А. ДОБРОВИЧ,
А. ДОНДЕ, Н. ДРАЧИНСКАЯ, Э. КУЗНЕЦОВ,
М. ХЕЙФЕЦ, Д. ЦИФРИНОВИЧ, И. ЧАПЛИНА,
Н. БАСОВСКИЙ, В. КРАСНОГОРОВ

Заведующая редакцией — Мирьям БАР-ОР
Компьютерная обработка — Нина РАДАЙ

Всю корреспонденцию направлять по адресу:
«22», Р.О.В. 44050, Tel-Aviv 61440.
Телефон редакции — 03-7394525

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству «Москва — Иерусалим» и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле — 120 шек., для организаций — 130 шек., за рубежом — 80 долларов (авиапочтой в Европу — 90, в США — 95 долларов), для организаций — 100 долларов (включая пересылку).

Стоимость подписки для новых репатриантов (до 1 года в стране — 90 шекелей (с рассрочкой в два платежа).

*Отвергнутые рукописи не возвращаются
и в переписку по их поводу редакция не вступает.*

*В Беэр-Шеве журнал можно приобрести в видеоклубе «Век кино»
у Эдуарда и Лины Дегетман, пассаж «Голан».*

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №

Прилагаю чек (чеки) № на сумму

Журнал прошу выслать по адресу

.....

(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала

(фамилия)

Наш адрес: "22", Тель-Авив 61440, п/я 44050

